

АЛЕКСАНДР БЕРМУС

1

Приступая к рассмотрению заявленных концептов «туземной» и «провинциальной» науки, следует сразу же отметить, что речь идет здесь скорее не о научных понятиях в классическом смысле слова, но о словах-метках, обозначающих некоторые очевидные тенденции. Действительно, в ситуации краха «социалистического лагеря» на рубеже 80-х и 90-х гг. XX в. большинство социокультурных феноменов (в том числе и советская наука) оказались перед выбором: либо попытаться включиться в глобальную систему производства научного знания, либо достичь компенсации пережитой травмы через культивирование своей «особенности» и «неповторимости». Очевидно, что первая стратегия, с изрядной долей условности, может быть описана как «провинциальная», а вторая как «туземная».

При этом, используя оба предложенных концепта, важно не забывать всю меру их условности. В первую очередь, «туземное» знание возникает в условиях изначально автономной социальной модели, впервые открывающейся навстречу «цивилизации». Между тем отечественная автаркическая традиция, имеющая, несомненно, религиозные корни, изначально возникла как форма противодействия-спасения от «тлетворного влияния Запада», т.е. частичное замыкание отечественной научной

традиции никогда не было свидетельством фактической недоступности иных культур, но всегда — результатом сознательного политико-идеологического выбора. Кроме того, следует учитывать, что еще 30 или 40 лет назад подобные обозначения-оценки отечественной науки были принципиально невозможны, как в силу объективного состояния советской науки (особенно в сфере естественных и математических наук), так и вследствие высокого политико-идеологического статуса научной деятельности в СССР и ее привлекательности для выходцев из других стран.

Не менее важно и то, что в современном научном социуме «туземная» и «провинциальная» наука достаточно сильно перемешаны — и на уровне отдельных институтов, и даже в деятельности отдельных ученых или преподавателей. Их работа над научными грантами вполне может укладываться в логику «провинциальной науки», поскольку базируется на заимствованном методологическом инструментарии и ресурсах, а собственная преподавательская или научно-методическая деятельность будет вполне соответствовать традициям «аутентичной российской науки». Наконец, не следует забывать и о том, что одним из приоритетов любой научной полемики является постоянное перераспределение статусов между «лидерами научных школ и направлений» и «учеными провинциалами».

Таким образом, нам представляется более осмысленным говорить о тенденциях «провинциализации» и «замыкания» отечественной науки, проявляющихся в большинстве сфер научной деятельности. В целом же, подобные трансформации необходимо рассматривать в качестве достаточно сложных «эффектов поля» (П. Бурдьё), определяющихся не только и не столько особенностями коммуникации ученых вовне и внутри поля, но и административными и финансовыми механизмами управления наукой, поколенческим сдвигом, изменениями идентичностей и пр.

Говоря о проявлениях этих тенденций в сфере наук об образовании (педагогика, педагогическая психология, дефектология и др.), можно говорить о нескольких уровнях и формах их представленности, а именно:

- глобальном (где российские социально-гуманитарные традиции соприкасаются с глобальными тенденциями развития научного знания);
- общероссийском (где действуют достаточно универсальные для современной политико-экономической ситуации в России закономерности трансформации образовательных институтов и способов их научной рефлексии);

- локальном (региональном, где с наибольшей силой проявляются феномены, характерные для отдельных научно-педагогических коллективов и школ).

В глобальном отношении следует учитывать, что весь комплекс отечественных наук об образовании сформировался на стыке трех противоречивых тенденций:

- преимущественно немецких «наук о духе», сформировавшихся в условиях глубоко дифференцированного («сословного») общества и задававших метафизику и категориальную структуру психолого-педагогического знания;
- почвеннического культа «народной школы» и «народного учителя»;
- политико-идеологических конструкций 1930–1970-х гг., выдвинувших на первый план проблемы «партийности школы», «коммунистического воспитания» и пр.

По сути дела, эти три основания к началу 90-х гг. XX в. оказались разрушенными, что привело к затяжному кризису наук об образовании.

Некоторым паллиативом стали качественные изменения категориальной базы наук об образовании, в результате которых все прежде идеологически нагруженные слова приобрели свойство «слов-бумажников» (Ж. Делез), одновременно задающих несколько пространств взаимоисключающих интерпретаций. В частности, такова судьба ключевой для современного образования категории «личности» и, соответственно, личностно-ориентированного (как варианты, личностно-развивающего или личностно-центрированного) образования. Здесь наряду с пониманием личности как «феномена высокой культуры» актуализируются представления о «силе личности» как социальном феномене, вплоть до прямого включения личности в число естественных прав (каждый человек — личность, каждый родившийся ребенок — личность!).

На общероссийском уровне главенствующую роль в трансформации наук об образовании стало играть дистанцирование государства от школы, в основе которого — сознательный и целенаправленный отказ государства от ведущей роли в экономике и переход к «регулирующему поведению» на рынке. Если советская модель предполагала прямое управление образованием и педагогической наукой как подсистемами массового производства кадров и легитимации собственной власти, то в современной образовательной модели образование постепенно смещается из области «общественного блага» в область индивидуальных благ и карьерных лифтов, риски которых относят-

ся на счет самого субъекта. Соответственно выработка и продвижение государственных решений в сфере образования осуществляется путем аппаратного согласования и балансирования интересов различных групп влияния без обращения к публичной сфере, в особенности к институтам научно-философской рефлексии. Все это приводит к стойкому эффекту «невостребованности» образования и наук об образовании.

Наконец, на локальном уровне происходит персонификация научно-педагогического сообщества, усиление монархического (как вариант, «дружинного») характера научно-образовательных практик. Личность ученого, соединяющего в себе полноту владения финансовыми, символическими и социальными капиталами (руководитель вуза, лидер научной школы, член различных научных обществ и академий), оказывается основным структурирующим основанием в поле научно-педагогической деятельности и коммуникации.

В этих условиях ставшее притчей во языцех «снижение уровня научных исследований» в области социально-гуманитарных наук и наук об образовании, в частности, является совершенно закономерным следствием множества односторонних факторов. Действительно, с одной стороны, глубочайший идеологический кризис 1990-х гг., наложенный на экономический кризис, и многократное снижение реальных расходов на науку (в том числе академическую мобильность, приобретение литературы, контакты с зарубежными коллегами) серьезно затормозили происходящие в любой науке процессы внутреннего обновления. С другой стороны, выход государства из парадигмы эпохи Просвещения и изменение способов легитимации политики от поддержания идеологической идентичности к балансированию политико-экономических интересов привели к аннулированию «государственного заказа» на научно-философскую рефлексия. Наконец, усиленная персонификация всех ресурсов и капиталов привела к деформации и атрофии традиционных процедур порождения и экспертизы научной истины (в первую очередь, научных дискуссий и конференций).

В результате ни «провинциальная», ни «туземная» наука в сфере наук об образовании в чистом виде не существует. Сегодня можно говорить о преобладающем воспроизводстве синкретических форм, в рамках которых инструментарий «провинциальной науки» (обоснование актуальности, новизны и теоретической значимости с использованием концептов *глобализации, информационного общества, постсовременности*) переплетается с воспроизведением «туземных» сюжетов (*нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, всестороннее развитие личности* и пр.).

3

Сама постановка этого вопроса до крайности мифологизирована.

Во-первых, следует отметить, что мы сталкиваемся с “*contraditio in adjecto*”: задается вопрос о мировом уровне признания для наук, которые априорно считаются провинциальными!

Во-вторых, столь же мифологизированным выглядит и сопоставление с некоторым «мировым уровнем». Действительно, какую бы отрасль наук мы ни взяли, в каждой из них существуют свои традиции, как в выборе объектов исследования, так и в методологии, способах презентации полученных результатов. Еще шире разнообразие университетов и научных школ, журналов, способов финансирования, значимости влияния политических факторов и пр. Наглядным выражением этой неоднородности являются те же самые мировые рейтинги вузов, где, в зависимости от избранной методологии и, более того, области наук, позиции одних и тех же вузов могут радикально отличаться.

Наконец, в-третьих, и об этом уже было сказано в ответе на предыдущие вопросы, рассматривать «провинциальность» или «туземность» науки как некоторый фундаментальный ее атрибут, обусловленный только и исключительно географическими или социально-историческими причинами, представляется, с нашей точки зрения, крайним упрощением. За каждой из использованных метафор скрываются достаточно сложные и многогранные феномены, понимания которых можно достичь, лишь выделив хотя бы несколько существенных аспектов. В числе последних: *система организации и финансирования научных исследований, договорная база международного и институционального сотрудничества, публикационная и конференционная активность научного сообщества, организация последипломного образования и повышения квалификации, стили и стратегии научного руководства и консультирования, академическая мобильность и др.*

Без детального анализа этих показателей по различным областям науки, группам вузов и научно-образовательных учреждений мы оказываемся в плену ярких метафор, заслоняющих суть дела.

4

Проблема нам видится не столько в выделении специальных функций «провинциальной» или «туземной» науки, а, как было отмечено выше, в общем процессе «провинциализации» научного познания. Действительно, если для прежних эпох достижения науки представляли в их универсальном, культурно-историческом и антропологическом значении (гелиоцентрическая система Н. Коперника, законы Ньютона, эволю-

ционная теория Ч. Дарвина и пр.), то для современной науки подобный пафос совершенно несвойствен.

Ученые во все большей степени выступают в качестве коллективного анонимного эксперта, свидетельствующего о превосходстве одних товаров над другими в рамках специализированных экспериментальных исследований (характерным примером является использование квазинаучных данных в телевизионной рекламе). При этом поле научного познания стремительно автономизируется и от философско-антропологической рефлексии человека в истории (в этой связи показательно полное исчезновение словосочетаний «научно-технический прогресс», «научно-техническая революция»), и от образования (изучение основ наук перестает быть приоритетом образования на всех уровнях, заменяясь формированием практико-ориентированных компетенций).

Таким образом, провинциализация и «туземность» предстают в качестве достаточно универсальных атрибутов трансформации поля науки. С этим связан и вывод: не имеет смысла сравнивать «качество» или «эффективность» действия различных, но негативных тенденций. Действительный вопрос, требующий ответа, заключается в переосмыслении результатов завершившегося «проекта Просвещения» и возможностей его возобновления в первой четверти XXI в.

5

Отвечая на этот вопрос, мы опять-таки должны начать с его уточнения. В первую очередь, для нас совершенно неочевидна возможность использования категории «академической миросистемы» как инструмента описания нынешней ситуации в науках об образовании и в особенности поиска практических ответов на проблему развития.

Если исходить из того, что репрезентацией этой миросистемы являются различные рейтинги мировых университетов, то задача становится понятнее (хотя отнюдь не проще): как повысить рейтинги ведущих российских вузов в мировых рейтингах. Если исходить из специфики политико-экономической мотивации образования и образовательных реформ, то и здесь мы видим несколько различающихся между собой регионов, каждый из которых реализует свой историко-образовательный проект: Европа (Болонский процесс), США (глобальное, в том числе дистанционное, образование), Китай (глобальная конкурентоспособность).

Обратим внимание: вне зависимости от того, какова направленность реформ, они исходят не из идеологических мотивов (выйти из «периферии» или «полупериферии», обретение «третьего пути»), но из вполне реальных политико-экономических

интересов, соотнесенных с потребностями и перспективами развития экономики, социальной сферы, усиления влияния государства на мировые процессы и пр. Таким образом, отвечая на вопрос о возможности поиска «своего пути» в деле развития образования и наук об образовании, следует выделить несколько ключевых моментов:

1) Определение приоритетов развития отечественной системы образования и наук об образовании. Важно, чтобы при этом государственные органы управления образованием формировали общее видение перспективы в постоянной коммуникации с образовательными организациями и общественными объединениями: неуспех большинства из предпринятых в последние годы попыток реформ в немалой степени обусловлен неопределенностью целей и задач, приводящей к управленческому хаосу и деструкции существующих институциональных связей.

2) Провозглашение открытости образования и формирование климата доверия в качестве приоритетов. Попытка императивным способом определить в качестве таковых какой-либо абстрактный конструкт (наподобие той же «эффективности» или «конкурентоспособности») приводит лишь к ухудшению ситуации — в современном мире отношения конкуренции не являются исключительными, но дополняются отношениями кооперации и сотрудничества. В этой связи любая попытка выстроить «привлекательную альтернативу» на основании жесткого противостояния является заведомо проигрышной. Напротив, чем большее количество научно-образовательных институтов и практик (в том числе, разработка и внедрение инновационных образовательных программ, организация и осуществление научных исследований, публикации, защита диссертаций, разработка и экспертиза крупных образовательных проектов) будет выстроено на основании межрегионального и международного сотрудничества, тем вероятнее достижение конкурентоспособности российского образования и наук об образовании.

3) Достижение более глубокого понимания глубинных проблем российского образования, цивилизации и истории. Весь комплекс социально-гуманитарных наук на протяжении всего XX столетия в России и СССР характеризовался крайне высоким уровнем идеологизации. При этом сущность пройденного пути, существовавших на каждом этапе исторического процесса выборов и развилок, соотношения между традицией и инновацией, социальным и государственным неизменно оказывались вытесненными «парадной» наукой. Нынешний кризис во всех сферах и областях гуманитарного знания (равно как и кризис образовательных институтов) содержит значимый повод и импульс к переосмыслению произошедшего.

ЮЛИЯ БУЧАТСКАЯ

1

Согласна с существованием предложенного авторами деления в гуманитарных науках, в частности в этнографии (область знаний, которая знакома мне, я буду называть этим «традиционным» именем, несмотря на существование множества других названий дисциплины о культуре, принятых даже в нашей стране). Правда, не могу согласиться с выбором именно такого определения применительно к этнографии — слово «туземный» отдает какой-то колониальностью, когда речь идет о нашей дисциплине, и довольно трудно передать на другом языке, чтобы тут же не получить упрек в не(полит)корректности. Приходят на ум в данном случае менее яркие по звучанию варианты: «местечковая», «деревенская» или что-то в этом роде, если придерживаться предложенной авторами аналогии с пространственно-культурными категориями и логически двигаться по шкале столица — провинция — и дальше «вглубь».

Буквальная оправданность названия «туземная наука» в отношении этнографии мне приходит в голову только в дискурсе профессиональной культуры советских и постсоветских этнографов как копилки различных суеверий, примет и ритуалов, повторяющих те, с которыми они работают, а в методологии полевой работы — набора неписанных правил поведения и «коленных рефлексов» [Размышления 1996: 7] при отсутствии саморефлексии и критического анализа поля. И тем самым этнографы сами становятся достойным исследовательским полем ([Щепанская 2003; 2005; 2006] и др.).

Что является столичной наукой в моей области... Тут два наблюдения. Первое: моя непосредственная исследовательская область — европейская этнология с преимущественно германским полем. В ней, без сомнения, к столичной будет относиться не только британская и американская антропология / культурология и прочие дробные

studies, но и берлинская (европейская) этнология последнего десятилетия. Пожалуй, в настоящее время это самая прогрессивно ориентированная и мыслящая, так сказать, «по мировым стандартам», институция на всем немецкоязычном научном пространстве.

Если же окунуться в мир собственно берлинской этнологии, что я и делаю в этом году в связи с исследовательским проектом в Институте европейской этнологии университета Гумбольдта, то система координат переместится. Берлин окажется в роли тех же классических провинциалов, которым удастся пригласить на свой институтский коллоквиум Аржуна Аппадурай. И уже лихорадка ожидания, но визит по каким-то причинам отменяется.

Можно проследить и другие «провинциальные» черты, так точно и мастерски охарактеризованные авторами обсуждаемой статьи. Берлинцы вторичны, и сами себя и свою науку воспринимают как отстающее лет на 20 подобие британских cultural studies и американской социальной и культурной антропологии. Работая над проектом о профессиональной культуре этнологов Берлина, я пришла к наблюдению, что в стране выстраивается иерархия и шкала «провинциальности — туземности», которую, однако, так никто не определял и не анализировал. Совершенно явно выделяются научные школы, сопоставимые с понятием центров «провинциальной науки» немецкоязычного научного мира. Всем приличным ученым полагается участвовать в дискуссии всех значимых независимо от города, в котором они локализованы в настоящее время (в отличие от России с определенными преференциями: Москва слышит только Москву, Питер слышит Питер и Москву, а сибирские ученые цитируют самих себя и, может быть, Москву). Поэтому таких центров несколько. Их исправно слушают и цитируют молодые ученые и уже состоявшиеся коллеги (по «соображениям реципрокности»).

В немецкоязычном научном пространстве значимые научные центры складываются только вокруг определенных личностей и являются значимыми, покуда личность связывает свою деятельность с этим центром, а по окончании сего могут перестать быть таковыми. «Туземная» наука (название, которое можно удачно обыграть для немецкого поля в связи с постколониальным пересмотром колониальных собраний музеев) локализуется в музеях, а также таковой считается этнография (какие бы модные названия она ни принимала в последнее время) малых университетов Южной Германии, Австрии и Швейцарии. По следующим причинам: «туземность» в моем немецком поле проявляется не в отношении к тексту, цитировании правиль-

ных собеседников и степени соответствия общим критериям научности, а в выборе тем, направленности научного интереса скорее в сторону поисков традиций, чем современных процессов, что и отличает названные выше институции.

Второе наблюдение такое: в последнее время прихожу к выводу, что соотношение «столичности — провинциальности» вообще иное. Столичная этнология не где-то в определенной стране, тогда как все другие вторичны по отношению к ней и обращают свои взгляды на нее и пытаются слышать там всех и цитировать. Эффект описанной Соколовым и Титаевым «столичности», на мой взгляд, возникает вокруг определенно-го имени, определенной персоны, которая закладывает новую теорию (подобно «научным революциям» Т. Куна) или вокруг которой складывается научный коллектив = научная школа, продвигающая эту теорию и работающая с ней, возникает определенная мода на теории, а следовательно и личности, оперирующие ими. Это, в зависимости от каждой узкой области интересов европейской этнологии и всех дробных культурологических дисциплин, могут быть и Лефевр, и Латур, и Фуко, и Бурдьё, и Батлер, и Цукин с Флоридой... И это не значит, что сразу вся французская социология или американская антропология являются столичной наукой для нашей области (этнографии в широком смысле). В этом случае все остальные ученые, которые используют данные теории в своих частных исследованиях и не изобретают собственных, всегда будут вторичными.

Может, социология и является монолитной дисциплиной, в которой можно говорить о конкретной столичной науке и вторичных остальных. Но европейская этнология видится мне в настоящее время настолько дробной и пересекающейся с той же социологией, что определить границы ее «столицы» в одном предложении невозможно.

2

Особенно показательными в смысле поведенческих форм «туземной» этнографии мне представляются практика оценки качества производимого продукта (или, точнее, его фактическое отсутствие) и отношение к публикациям, красочно проиллюстрированное авторами. Я тоже проиллюстрирую эти два момента. В нашей академической этнографической организации оценивать качество производимого сотрудником или коллективом сотрудников продукта (монографии или сборника статей) предполагается в ходе обсуждения одного на заседании отдела. Как правило, из семи сотрудников внимательно знакомится с текстом в лучшем случае половина, а отзывы о прочитанном ограничиваются общими фразами и положительной оценкой с рекомендацией к публикации. Редкая критика, по

крайней мере в нашем отделе, касается таких незначительных вещей, как стиль изложения, языковые неточности, не приведенный сходный материал из знакомой коллегам области. У меня самой уже в конце 1990-х и 2000-х гг. как молодой аспирантки, перешедшей из одной дисциплины в другую, постоянно складывалось впечатление, что все идет слишком просто и без проблем. Оправданием отсутствия въедливой критики собственно излагаемой в работе концепции на таких заседаниях служит вводная фраза: «Это вообще-то не моя тема».

Таким образом, обсуждение происходит, но не там, не в том пространстве внимания, не в той дискуссии, к которой могла бы относиться каждая конкретная тема нового текста. Тех, кто уже сказал что-то по данной теме или мог бы сказать, подобные обсуждения на заседании отдела игнорируют и не включают в дискуссию, как мне кажется, больше не по злому умыслу, но по причине восприятия таких обсуждений как чистой формальности на пути к утверждению Ученым советом текста к печати. В этом случае гораздо проще и быстрее получить положительную оценку продукта путем сбора такого «междусобойчика».

Помимо всего прочего, существует еще какая-то институциональная неприязнь, воспринимающая появление сходных интересов и тем в разных организациях как конкуренцию, лучший способ покончить с которой — игнорировать. Яркий пример — две конференции, параллельно существующие в Санкт-Петербурге и посвященные петербургским (российским) немцам. Одна, «Немцы в России», проводится главным научным сотрудником Института истории естествознания и техники РАН Галиной Ивановной Смагиной; другая, «Немцы в СПб: биографический аспект», постоянно организуется моей коллегой из отдела европеистики МАЭ РАН Татьяной Алексеевной Шрадер. Ни один организатор не посещает конференцию своего «конкурента», и у меня есть подозрения, что круг участников каждой из них тоже вряд ли пересекается. Получается, что «в этой ситуации никто особенно не <...> заинтересован в том, чтобы убедиться, что ученые выполнили свою работу по поддержанию пространства внимания, услышали все реплики в соответствующей дискуссии или что кто-то услышал их», — как точно подмечено в обсуждаемой статье.

То же на большинстве отечественных конференций: отчитал доклад — «Есть вопросы?» — «Нет вопросов, спасибо, следующий». На конференциях не разворачивается истинных дискуссий, в процессе которых рождаются новые идеи и попытки поставить под вопрос разные истины, совершенно отсутствует какая-либо рефлексия собственной работы. Меня всегда пора-

жают темы, структура докладов, а затем вопросы к докладам на этнографических мероприятиях. По сути, это дескриптивное повествование о неких особенностях этнических или региональных культур, которое априори не предполагает дискуссии, потому что не ставит вопросов, не выдвигает гипотез, ничего не проблематизирует. Вопросы к такому докладу либо не возникают вовсе, либо являются уточняющими вопросами типа «известен ли у вас такой-то обряд». А потом следует автоматическая публикация материалов конференции — и чем больше объем, тем лучше, ибо можно хорошо отчитаться о проделанной работе.

И тут мы подошли ко второму показательному примеру поведенческих форм туземной этнографии — отношению к публикациям: «У других их количество попросту зашкаливает». Как известно, при отчете о НИР за минувший год чем больше публикаций, тем лучше. Наш заведующий отделом постоянно выдает стахановскую цифру — до 30 публикаций в год. И он сам сознается, что читать новую литературу уже некогда, потому что «не читатель, а писатель», но количеством гордится. Меня долгое время мучил комплекс неполноценности на фоне такого продуктивного коллеги, и я в этом году ревностно спрашивала своих берлинских коллег (молодых профессоров, между прочим), сколько же у них возникает новых публикаций в год. Оказалось, около трех. Надо ли говорить о том, каково может быть качество и степень оригинальности 30 публикаций в год... Публикационная активность в нашей академической организации стимулируется рейтинговыми надбавками: чем больше опубликуешь в этом году, тем больше будет зарплата в следующем. Поэтому я совершенно открыто занимаюсь такой же «графоманией», ибо это прямым образом отражается на зарплате. А кто же хочет ее себе уменьшить в наше время, даже из идейных соображений?

Такой же профанацией участия в международной научной дискуссии является повышающий коэффициент за участие в зарубежных конференциях. Выступление на научном мероприятии с названием типа «Особенности традиционной культуры» в Украине или Белоруссии приравнивается к выступлению и участию в научной дискуссии на конгрессах и конференциях в мире «столичной» науки (США, Великобритании, Франции, Германии). Спрашивается: все ли ученые захотят куда-то стремиться в этом случае? Надо ли напрягаться и формулировать мысль на иностранном языке, соблюдать коммуникативную иерархию, бояться упустить кого-то важного из виду, когда к материальному поощрению можно прийти, по сути дела, не покидая пределов своего «туземного» круга?

Еще один характерный пример поведенческих форм в знакомой мне этнографии — это неизбывная приверженность позитивизму, проявляющаяся в отношении к полевым материалам и к категории традиционности. Я имею в виду безоговорочное посвящение себя поискам традиционных обрядов и интерпретацию наблюдаемых культурных явлений в дискурсе непрерывности традиций. Отношение к собственному полевому материалу как к истине в последней инстанции, признание существования объективной реальности и безоговорочное некритичное представление собранных в поле данных как отражения этой реальности. И на этом фоне игнорирование сложных взаимоотношений исследовательского субъекта и поля как совокупности других «говорящих» субъектов; игнорирование факта неоднозначности полевой работы как одной из культурных практик. Вместо этого — «отстаивание неизбывной ущербности импортных теорий в объяснении отечественных реалий».

Поскольку исследователь-полевик воспринимается как «истинный этнограф» в отличие от кабинетного или архивного ученого, то и научные работы, написанные на основе (собственных) полевых материалов, оцениваются как неопровержимые факты. Я часто думаю о словах своего коллеги, в том числе по полевой работе: «Фактологический материал, собранный в поле, непотопляем» [Мыльников, Иванова-Бучатская, Новик 2009: 4]. Этот постулат позволяет производить исключительно описательные тексты, лишенные критической рефлексии такого источника и ситуации его создания — они составляют жанр «материалы полевых исследований». В ответ на критику современного поля звучит усмешка посвященного, бывшего «там»: «Это может быть у *них там* информационное общество, а у нас на Балканах (или у нас в Приазовье) все действительно так».

4

Для российской этнологии трудно сообщить что-то принципиально новое сейчас, в ситуации отставания на 20–30 лет от европейско-американской. Мне видится единственная возможность новизны и тем самым вклада в мировое научное знание не в изобретении новых подходов и тем, а в определенных национальных или локальных ракурсах. Иначе говоря, работать с понятиями, теориями и подходами, которые объявлены в настоящее время в научном мире «трендами», но на местном материале, кейс-стади с национально-локальным колоритом.

5

Думаю, что занимать в «академической миросистеме» ту нишу, которую авторы определили как «провинцию», совершенно нормально (см. п. 1). Может быть, не «третий путь», но некото-

рая оптимизация ситуации мне видится в расширении контактов с «западными» социальными науками: чтобы быть вхожими в их салоны, нужно личное знакомство и владение языками. Надежду в этом отношении дает молодое поколение (от старого, да и от моего поколения ждать ничего не приходится, большинство сдавали в своих аспирантурах на иностранном языке «тысячи» и понятия не имеют о живом общении). Теперь есть мобильность молодого поколения, доступность обучения в европейских вузах. Даже полугодовое пребывание по программе Эразмус (Мундус) может заразить новыми идеями, обеспечить доступность литературы и доступ к столичной дискуссии, знакомство с языком столичной науки, контакты. Участие в междисциплинарных лабораториях и международных проектах социальных и антропологических исследований — хороший способ оказаться в центре научной дискуссии, не упустить из внимания никого нужного и самому получить feedback от участников дискуссии. Надо поощрять зарубежные семестры студентов, потому что именно университетское образование (а не последующие «стажировки» и командировки) формирует мозги в этой самой «столичной» направленности. Студенты нахватываются новых идей, форматов и открывают для своих исследований новые дискурсы, получают инструментарий, с которым можно подходить к их анализу, учатся рефлексировать ситуацию исследования, ситуацию поля и процесс производства текста как продукта своей профессии, а значит, соответствовать европейским критериям «научности» коммуникации. «Свой путь» науки достаточно ограничить национальным полем при использовании подходов, общих для столичной науки — чтобы говорить на одном языке, а значит, быть равноправными участниками научной коммуникации, и быть интересными, уникальными в конкретных исследованиях. В конце концов, постсоветское пространство — интересное явление для всех, не только отечественных ученых.

Библиография

- Мыльников А.С., Иванова-Бучатская Ю.В., Новик А.А. В лесах Северной Германии: По следам исчезнувших славян. Полное собрание материалов Первой российско-германской этнологической экспедиции в Северную Германию 2000 года. СПб.: Наука, 2009.
- Размышления о судьбах науки. Публикация подготовлена А. Елфимовым // Этнографическое обозрение. 1996. № 5. С. 3–24.
- Щепанская Т.Б. Полевик: фигура и деятельность этнографа в экспедиционном фольклоре (опыты автоэтнографии) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. 6. № 2. С. 165–179.

Щепанская Т.Б. Экспедиционные традиции: к топографии «поля» в неформальном дискурсе полевых исследователей (этнографов, археологов, антропологов) // Ю.В. Кривошеев (отв. ред.). Проблемы исторического регионоведения. СПбГУ, 2005. С. 76–100.

Щепанская Т.Б. Мифологические персонажи в неформальном дискурсе «поля» // Антропологический форум. 2006. № 4. С. 326–346.

ЕЛЕНА ГАПОВА

В поисках утраченного пути¹

Как известно, великий Сократ ничего не писал, о его идеях мы знаем из записей его ученика Платона. Сократ полагал, что написанный текст застывает в некоей конечной точке — а «древо жизни вечно зеленеет», мысль движется, и в ответ на очередной аргумент возникает новый. Устная же беседа может идти до тех пор, пока собеседники продолжают высказываться. Конечно, Сократ и жил по-своему: мало ел, ходил в лохмотьях; говорят (т.е. пишут), что он как-то стоял несколько часов босиком на снегу и думал. Нам же — как указывал Маркс — прежде чем заниматься искусством и наукой, надо есть, пить и одеваться. Поэтому мы пишем и стремимся напечататься. Иными словами, Сократа интересовало знание, нас — наше место в его производстве, т.е. упомянет ли нас Платон («Ученые судорожно заканчивают свои реплики в этом разговоре — статьи и книги — в ночь перед отправкой в печать, а журналы и полки новых поступлений в библиотеках проглядывают с ревнивым страхом обнаружить, что кто-то сказал все то же самое раньше них или что ими недополучены причитающиеся ссылки», — М. Соколов и К. Титаев).

Елена Ильинична Гапова
Университет Западного
Мичигана, Каламазу,
США
elena.gapova@wmich.edu

Отличной иллюстрацией к болезненной теме позиционирования, распределения внимания и иерархизации в науке, которой

¹ Некоторые идеи этого текста были изложены в: [Гапова 2011].

посвящен текст М. Соколова и К. Титаева, может быть ситуация исследователей, расположенных в бывших «национальных республиках». Интеллектуалы «малых наций» — тех, чьи границы, государственная принадлежность и официальные языки изменялись несколько раз за последнее столетие (и еще столько же за предыдущее), вынуждены постоянно «репозиционировать» себя в отношении локальных, национальных и глобальных символических рынков. Некоторое время назад мой молодой коллега (имеющий белорусскую кандидатскую и американскую докторскую степени) отправил в «АФ» развернутую рецензию на сделанную в Беларуси и громко заявленную научному сообществу работу по гендерной лингвистике. Отталкиваясь от белорусского материала, автор рассматривал постсоветскую гендерную лингвистику и гендерные исследования и их ангажированность дискурсами нациостроительства, т.е. касался гуманитаристики целого региона. Редакция, признав профессионализм и высокое качество текста, отвергла его на том основании, что «белорусская тематика» не будет интересна аудитории (этот текст впоследствии опубликовал другой журнал). Автор полагал, что говорит об «объективно важном» и вносит вклад в научную дискуссию, а получил указание на свое место в иерархии и напоминание о том, что знание всегда включено в социальную систему.

Конечно, нельзя сказать, что исследователи из «новых» академий испытывают в результате того, что распалась советская система производства знания, одни неудобства: они получили и новые возможности. Когда бывшие провинциальные города стали национальными столицами, в них пришли (и из некоторых уже ушли) международные фонды. Там, как и в России, были созданы («благодаря Соросу, Кеннану, Гарриману, Гарварду, Форду», как указывала Лора Энгельстейн [Engelstein 2001: 365]) «независимые университеты», появились новые возможности международной видимости и непосредственного выхода в глобальную академию (ранее же все «шло через Москву»). Интеллектуальный рынок труда существенно расширился, а продвижение в нем не требовало конкуренции с прежними научными элитами. Это позволило символически «перечеркнуть» сложившуюся академическую иерархию, появилась возможность стремительного вертикального продвижения.

«Новые» университеты предоставили профессиональное признание и исследователям, имевшим образование в других областях, и «органическим интеллектуалам», пришедшим из публичной сферы. Новые государства стали объектами интереса западной науки и политики, а вместе с этим появилась возможность быть известным специалистом по (пусть малой)

стране. С учетом того, что некоторые из этих стран расположены в «стратегических точках», возникли лифты на глобальном рынке *area studies*. Между тем то, что пишется в (о) малых странах, воспринимается как партикулярное, в то время как написанное в (и о) России претендует на статус всеобщего.

Пожалуй, сказанного достаточно, чтобы увидеть: обсуждение позиционирования провинциальной и туземной (не обязательно российской) науки в их отношении к «метрополии» является свидетельством того беспокойства, которое испытывают постсоветские (академические) интеллектуалы относительно своего статуса¹. Корни этого беспокойства находятся в той *системе социальной стратификации*, которая была запущена распадом социализма. После исчезновения «руководящей всем» структуры (КПСС), у которой было эксклюзивное право выносить вердикт истинности в отношении любой науки (как гуманитарной, так и естественной — вспомним генетику), вопрос о том, кто сможет определять *для общества* научную истину и говорить ему о том, что верно, а что нет, — это вопрос о социальном статусе производителей знания, о том, какие позиции в социальной структуре — автономные или подчиненные — они будут занимать.

Как указывал Зигмунд Бауман, интеллектуалы (отнесем к ним и «академиков», хотя это не всегда верно) стремятся быть экспертами, моральными арбитрами и судьями вкуса [Bauman 1987]. И впервые за очень долгое время «академики» в нашей части света оказались в той ситуации, когда они в принципе могут претендовать на такой статус. Однако чтобы его достичь, надо доказать, что они *знают* и что знают *только они*. Сделать это можно лишь одним способом: отстояв (по западному образцу) независимость своей профессиональной корпорации (когда, по определению М. Соколова и К. Титаева, только сами ученые могут выносить вердикт в отношении работы своих коллег), чье мнение и будет приниматься обществом как экспертное, а потому не могущее быть оспоренным «непрофессионалами».

В дискурсе последних лет этот статус кодируется в понятиях коллегиальности и корпоративной солидарности, университетской автономии и академической независимости, к которым стремится та часть постсоветской академии, которая была названа авторами статьи «провинциальной». Например, только сами «профессора», но не государственный орган, хотя

¹ Вопрос о том, кто достигает «сияющих вершин», а кто, наоборот, проживает «лишенную смысла», как пишут авторы, научную жизнь, оставляю в стороне, учитывая, что наука существует как институт по конструированию одобряемых экспертами точек зрения, а не как разлитое в эфире «знание», которое надо «открыть»: «сияющих вершин» вне нашего воображения о них не существует.

решать, чему и как учить, так как они *знают*. В этой среде государственное вмешательство в учебные программы и иные академические вопросы рассматривается не только как ограничение профессиональной свободы, но как узурпация исключительного права «академиков» быть носителями научной истины, так как это подрывает их социальный статус.

Такая борьба есть часть более общей системы постсоветской стратификации, формирование которой происходит на основании использования различных — не только экономическое — капиталов для получения социального признания. П. Бурдье считал различные виды капиталов ресурсом для обеспечения социальной мобильности их обладателей и, таким образом, для конструирования неэкономической дифференциации. Согласно Э. Валлерстайну, капитал является способом хранения накопленного успеха в любой области (см.: [Derluguian 2005: 132]), и поэтому, помимо экономического, можно говорить о культурном, политическом, символическом, административном, семейном капитале и т.д. В отношении производителей знания можно использовать понятие эпистемологического капитала, т.е. социального признания, связанного с обладанием «ценным» (т.е. особым, не всем доступным) знанием.

В системе социальных обменов эпистемологический капитал является особым социальным отношением, в рамках которого производители знания получают власть и статус. В определенном смысле можно говорить о том, что они становятся (или претендуют на то, чтобы стать) «новым классом», выделяемым на основании обладания знанием как видом капитала. Впервые понятие «нового класса» было введено родоначальником анархизма М. Бакуниным, который, критикуя революционных марксистов, предположил, что, объявив себя авангардом пролетариата, они движимы «интересом» заменить привилегию, основанную на частной собственности, привилегией, основанной на монополии на знание (см.: [King, Zselenyi 2004: xvii]).

В течение XX в. концепт «нового класса» претерпевал изменения: Т. Веблен включал в него технократию и бюрократию — результат роста корпораций¹; Д. Белл и А. Гульднер, авторы идеи постиндустриального общества, — ученых, обладателей экспертного капитала, которые осознают свое коллективное преимущество и претендуют на автономию. Именно это происходило, например, в 1960-х, когда социалистическая интел-

¹ Милован Джилас применил эту модель к социализму, назвав «новым классом» государственного социализма бюрократию, обладающую особыми привилегиями [Djilas 1957].

лигенция (не только в СССР) делала попытку отстоять особую роль в определении общественных приоритетов. Стремясь противопоставить волюнтаристской политике партийной бюрократии рациональное руководство, основанное на кибернетике и науках об управлении, которыми якобы владела, она делала заявку на ограничение бюрократической власти¹ и особую роль в определении путей общественного развития. При анализе стратегий, направленных на занятие престижной социальной позиции постсоветскими производителями знания, концепт «нового класса» может служить моделью, позволяющей понять формирование нынешнего группового интереса «знающих» (недаром на постсоветском пространстве стала столь популярной концепция «креативного класса»).

Однако существует следующая проблема. Знание представляет собой подчиненную, «неавтономную» форму капитала [Eyal 2003: 4]: обладание им само по себе не дает социального продвижения, а потому требуются особые стратегии для получения его общественного признания. Оно не только должно быть превращено в редкий, а потому ценный товар: его носители должны доказать свою «монополию» в обладании им, а это можно сделать только с опорой на некоторую «реальную», признанную силу. Статус научного продукта, признание его «истинным» зависит от правил оценивания, как явных, так и подразумеваемых и установленных социально. Знание всегда включено в сложные отношения с другим (предыдущим или просто «другим») знанием (по М. Фуко, «нельзя сказать что угодно в любой момент времени»), и научные аргументы являются не только научными, но и социальными феноменами: «Рациональные единства, такие как суждения, аргументы или теории, суть социальные единства, т.е. они являются социальными институтами или частями социальных институтов или зависят от социальных институтов» [Kusch 2000: 27]. Иными словами, для признания научности (или «истинности») знания должны существовать какие-то гаранты (нельзя «просто так» объявить нечто верным или заявить об открытии). В качестве таковых выступают социальные институты, прежде всего академия.

Однако постсоветская академия вряд ли может выступать в качестве гаранта истинности и научности: у нее «нет статуса». Доверие к ней подорвано: публике известно, что диссертации «покупаются», а научные труды списываются (академические скандалы последнего времени заставили заняться этой проблемой). Однако, возможно, гораздо важнее то, что в ней и нет

¹ Очевидно, спор «физиков» и «лириков» представлял собой переговоры о социальном первенстве между различными фракциями интеллигенции.

единой процедуры и критериев установления «истинности». В результате процессов, рассмотрение которых не входит в задачи этого текста, в постсоветской академии произошло разделение на два частично перекрещивающихся, но «противопоставленных» академических сообщества. С одной стороны — провинциальное (если пользоваться терминологией, предложенной М. Соколовым и К. Титаевым), с другой — туземное, хотя разделение между ними — «классового свойства»¹.

Одна часть академии нанимает профессоров на глобальном академическом рынке, так как может предложить им соответствующее вознаграждение. Она заинтересована в качестве своего продукта, так как намерена играть на международном символическом поле. И вне зависимости от государства там возникает идеал коллегиальности и университетской автономии. В этой части есть академическая элита международного класса с соответствующими публикациями и регалиями: участие в международных научных проектах, академических советах и редколлегиях. Она способна привлекать финансирование и интерес к вузу, являясь частью его «капитала», а потому может претендовать на более удобные условия работы: отсутствие в течение семестра для преподавания за рубежом, меньшая учебная нагрузка в пользу исследовательских занятий, возможность читать «нетрадиционные» курсы и т.д. Аспиранты, защитившиеся в этих институциях, с трудом находят работу: они «не могут» работать в «обычных» университетах (где нет ресурсов для занятий наукой), а их *alma mater* не может вместить все новые поколения выпускников.

Другая часть академии имеет доступ к локальным ресурсам, ее сотрудники публикуются в местных сборниках, рекомендованных к печати соответствующими научными советами либо не имеющих научного редактора вообще. Элита этих университетов, редко входя в состав международных научных комиссий, представлена в местных советах или редколлегиях. Их рядовые сотрудники, являясь «пролетариями академического труда», заполняют нижние эшелоны академической занятости, где «нагрузка на каждого из оставшихся преподавателей возросла весьма существенно, приблизительно на 30–35 % <...> Возрастает в основном аудиторная нагрузка, так называемые горловые часы, <...> ситуация на кафедрах становится особенно критической, когда заболевает кто-то из преподавателей, поскольку занятость остальных не позволяет организовать полноценное замещение болеющего сотрудника. <...> Столь интенсивный рост нагрузки отнюдь не сопровождается ростом

¹ Речь идет о том, что эти группы обладают доступом к различным ресурсам и, соответственно, различными интересами.

заработной платы; она остается неизменной. Постоянное перераспределение нагрузки и ее возрастание означает необходимость весьма оперативно осваивать и преподавать новые учебные дисциплины, <...> некоторые мои коллеги вели по 7–8 учебных курсов, причем добрая половина из них была новыми»¹.

Наиболее яркое описание академической повседневности «туземного» университета дает в своих текстах философ из Новосибирска Михаил Немцев. Их стоит прочесть целиком [Немцев 2011; 2013]. При больших нагрузках, низких зарплатах, плохой языковой подготовке и без доступа к литературе [Митрохин 2009: 185] исследователи из этой части академии часто не только не стремятся к автономии, но считают зависимость от государства основной гарантией своей занятости и профессиональной стабильности, а также «истинности» производимого ими знания. Историк Н. Копосов объясняет реванш носителей «консервативного» знания в 2000-е гг. постепенным укреплением госаппарата [Копосов 2010: 187]. Успешность в этой группе может быть связана не столько с признанием научным сообществом, сколько с бюрократической позицией и близостью к системе власти.

Знание же, произведенное другой частью академии, легитимировано ее опорой на *западную академию*, выстроенную на основании признанной иерархии университетов, научных журналов, независимого рецензирования, академического книжного рынка, цитирования и т.д. Напечатанное в издании, принадлежащем к признанному институту, становится авторитетным как прошедшее экспертную сертификацию. Тексты, производимые в «новой» академии на основании «несоветских» представлений о нормативности и научности, без Запада как локуса власти оказались бы лишены дисциплинарной легитимности.

Возникает парадокс. С одной стороны, постсоветские академики стремятся обрести социальный статус на основании обладания знанием. С другой стороны, существование «двух академий» означает отсутствие консенсуса относительно того, на основании какой процедуры и заслуг некто признается «знающим». Как в ситуации отсутствия единой системы сертификации (или хотя бы общей «договоренности» между учеными относительно того, что правильно, а что нет) определить, кто «знает» и кто «не знает»? Как можно вообще говорить о научном знании?

¹ Зверева С. Очередная жертва образовательных реформ. <<http://www.polit.ru/author/2010/06/09/vuz.html>>.

Очевидно, что иерархия существует во всех академиях: в Америке есть разница между Гарвардом и колледжем в городке под названием Slippery Rock. Тем не менее их преподаватели, как ни различен их научный статус (и возможное существование в разных научных «анклавах»), принадлежат к одной академии: их работа оценивается по единым критериям, они проходили «одинаковые» аспирантуры, для них существует возможность карьерного продвижения в рамках одной системы, общие и понятные процедуры определения качества; их проблемы, если таковые возникнут, будет обсуждать научное сообщество в рамках своих профессиональных ассоциаций и т.д.

Этот краткий текст написан в ответ на заданный редакцией вопрос о возможности «третьего пути». Статья, послужившая импульсом к обсуждению, сосредоточена на проблеме (не) присоединения к «мировой науке» (глобальному символическому рынку), существования гетто провинциальности, конструирования объективных и «субъективных» барьеров и (не) возможности обращения на себя внимания мирового сообщества. Похоже, что сходные проблемы волнуют последнее время и российскую власть: отсюда игры с рейтингами или недавние попытки одномоментным «волевым решением» продвинуть ряд российских научных журналов на лидирующие позиции «в списках цитирования». Эта цель имеет косвенное отношение собственно к «постижению истины» и прямое — к статусу «академиков» и престижу России. Однако достичь обеих целей таким образом — создав ограниченное количество журналов и университетов с особым статусом — вряд ли возможно: потемкинская деревня мало влияет на положение дел в деревне настоящей, а это-то и есть самый главный вопрос.

Возможно, цель следует ставить иначе: «не догнать и перегнать» столичную науку, употребив некоторые хитрые приемы, а серьезно думать о том, как сделать из двух «академий» — одну. С общими критериями качества, оценкой научного продукта, «академической аспирантурой» как единственной формой аспирантуры, доступностью литературы и т.д. Очевидно, можно говорить об установлении сравнимых учебных нагрузок и других мерах, связанных со статусом производителей знания, а также обсуждать, что именно и как необходимо осуществить для продвижения к единой академии, и формировать профсоюз вузовских преподавателей¹. А напишет ли потом про нас Платон — трудно сказать...

¹ Об этой работе можно прочесть на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность»: <<http://freeuni.ru/>>.

Библиография

- Гапова Е.* Национальное знание и международное признание: пост-советская академия в борьбе за символические рынки // *Ab Imperio*. 2011. № 4. С. 289–323.
- Копосов Н.* Память строгого режима. М.: НЛО, 2011.
- Митрохин Н.* О некоторых структурных проблемах российской социологии на современном этапе // *Laboratorium*. 2009. № 1. С. 182–186.
- Немцев М.* Из дневника преподавателя философии // *Неприкосновенный запас*. 2011. № 3 (77). С. 131–141.
- Немцев М.* Университетские гуманитарии современной России. 2013. <<http://gefter.ru/archive/9071#up22>>.
- Bauman Z.* Legislators and Interpreters. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987.
- Djilas M.* The New Class: an Analysis of the Communist System. N.Y.: Praeger, 1957.
- Derluguian G.* Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus. A World-systems Biography. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2005.
- Engelstein L.* Culture, Culture Everywhere: Interpretations of Modern Russia, Across the 1991 Divide // *Kritika*. 2001. Vol. 2 (2). P. 363–394.
- Eyal G.* The Origins of Postcommunist Elites. From Prague Spring to the Breakup of Czechoslovakia. Minneapolis; L.: University of Minnesota Press, 2003.
- King L., Zselenyi I.* Theories of the New Class. Intellectuals and Power. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.
- Kusch M.* The Sociology of Philosophical Knowledge: A Case Study and a Defense // M. Kusch (ed.). The Sociology of Philosophical Knowledge. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000. P. 15–38.

ОЛЕСЯ КИРЧИК

Олеся Игоревна Кирчик
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва
okirchik@hse.ru

Дискуссия, публикуемая «АФ» по случаю выхода статьи М. Соколова и К. Титаева, поднимает столь актуальные, столь болезненные вопросы, которые сегодня стоят не только перед российскими общественными науками. Многие характерные черты академической культуры разных групп российских социологов, обозначенных при помощи понятий «туземный» и «провинциальный», очень точно и местами остроумно подмечены авторами обсуждаемой статьи. Вместе с тем предложенная интерпретация расхождений между нормативным идеалом

научной коммуникации и ее реальным функционированием оставляет немало вопросов. Можно ли свести все напряжения между локальным и глобальным контекстами знания к идеологической оппозиции национализма и космополитизма? С чем связано незначительное присутствие российских гуманитариев и обществоведов в «международной науке» (и что такое «международная наука»)? В какой степени нынешний курс на «интернационализацию» науки способен поправить эту ситуацию? Для понимания процессов интернационализации научной коммуникации и выработки позиций по отношению к этим процессам представляется важным де-экзотизировать российский (постсоветский) кейс и рассмотреть эти вопросы в рамках более широкой дискуссии об истории социальных наук. В своих скромных рассуждениях, предложенных ниже, я буду отталкиваться, прежде всего, от примера экономических наук, исследуемых мною в перспективе социологии знания и социологической истории.

1

Если отвлечься от очевидно оценочного и относительного характера понятий «туземный» и «провинциальный», они отсылают к объективному принципу деления внутри национальных академических сообществ, испытывающих в последние десятилетия давление императива *интернационализации*. Пример экономической науки оказывается удобным для анализа этих отношений, поскольку здесь существует довольно четко очерченное ядро *мейнстрима*, который неравномерно представлен в национальных академиях вне англо-американского мира.

Доминирующее течение в экономической науке сформировалось после Второй мировой войны на базе нескольких ведущих американских университетов, имеющих практически безраздельное мировое лидерство в производстве теории и определяющих стандарты профессии экономиста (включая стандарты академических публикаций по экономике). Нормативное давление мейнстрима таково, что оно имеет обязательную силу в том, что касается предпосылок, методологии, проблематики и стиля представления результатов для всех, кто желает участвовать в этой науке. Это порождает острейшие конфликты везде за пределами англоговорящего мира вокруг определения границ и содержания дисциплины, порой ведущие к расколу и полному прекращению коммуникации между интернационализированными и национально ориентированными группами экономистов внутри национальных академий.

Россия являет пример крайне конфликтной ситуации в экономической науке (в силу более позднего открытия границ мейнстриму, интеллектуальной традиции, инфраструктурных и демографических особенностей — к сожалению, у меня нет здесь

возможности раскрыть этот вопрос более подробно). В начале 1990-х, как и в других социальных науках, здесь начался интенсивный импорт западных теорий, образовательных стандартов и проч. Однако одновременно возникла с тех пор не прекращавшаяся критика бездумного, механического заимствования западной учебниковой мудрости, моделей, созданных исходя из и для обществ, экономика которых отличается от российской довольно существенным образом. Вопрос о необходимости создания национальной школы экономики был эксплицитно поставлен в ведущих профессиональных изданиях в начале 2000-х гг., что входило в явный конфликт с транснациональной и универсалистской ориентацией мейнстримной экономики. Об остроте этого противостояния внешний наблюдатель может догадываться по эмоциональной напряженности конфликтов, иногда выходящих за границы профессионального сообщества экономистов. В целом же экономические науки сегодня все еще очень мало напоминают мейнстримную *economics*.

Данная картина укладывается в объяснительную схему, предложенную в обсуждаемой статье. Однако мне хотелось бы обратить внимание на два аспекта проблемы, которые кажутся существенными для дискуссии об интернационализации социальных наук. Во-первых, транснациональная система академического престижа и коммуникации не вполне похожа на конкурентный рынок (даже с институционалистской поправкой на экстерналии и вызываемые ими транзакционные издержки). Конфигурация этой системы имеет огромные последствия для неанглоязычных ученых в том, что касается возможных способов участия в мейнстримной науке. И, во-вторых, оппозиция между условными «провинциалами» и «туземцами» не может быть сведена к политико-идеологической дихотомии национализм vs космополитизм в силу того, что социальные науки имеют нередуцируемое пространственное измерение.

Несмотря на то что всегда существовали научные страны-лидеры, а также отношения конкуренции между национальными академиями, заострение конфликта между «столичной» и «периферийной» наукой происходит в общем и целом после Второй мировой войны в результате двух больших процессов: (а) колонизации / деколонизации (и, как следствие, появления множества относительно мелких национальных академий); (б) глобализации (по американскому образцу). Если во второй половине XIX и в первой трети XX в. значимый вклад в эту науку совершали представители разных национальных традиций (так, среди отцов-основателей неоклассики, которая до сих пор составляет ядро экономического мейнстрима, числятся француз Леон Вальрас, австриец Карл Менгер и британец Аль-

фред Маршалл), то к середине XX в. абсолютное лидерство в экономической теории закрепилось за США. В особенности процессы «интернационализации» и соответствующее давление на национальные академии усилились в последние два-три десятилетия в связи с падением коммунистического блока, экономической глобализацией, распространением инструментов и практик нового публичного менеджмента.

Эти процессы *интернационализации* имеют несимметричный характер, в целом усиливая позиции английского языка и ведущих институций стран-лидеров. Они накладывают специфические *структурные ограничения* на возможности научной коммуникации, сводящие на нет метафору общего разговора, в котором участвуют ученые из разных стран. В силу этого представляется не вполне корректным говорить о *выборе* агентами (учеными) тех или иных *стратегий* коммуникации (если только не в значении, которое этим выражениям дает Пьер Бурдьё, говоря о «нестратегических стратегиях» и «выборе без выбора»). Структура научной коммуникации, возникшая в условиях послевоенной *интернационализации*, задает для ученых вне англо-американского мира жесткий набор «стратегий», которыми могут воспользоваться эти ученые для участия в транснациональном мейнстриме (прежде всего, речь идет о публикации статей в журналах, посвященных *культурным регионам* (“cultural areas”), что является, к слову, американским изобретением). Этой возможностью практически в равной степени могут воспользоваться представители как вестернизированных, так и более «традиционных» академических институций.

Участие в собственно «столичной» дискуссии по экономике предполагает публикацию статей в ведущих американских изданиях (т.е. в Топ-30 мировых журналов по экономике), которые задают стандарты академической работы в своей области. Такие журналы отдают предпочтение статьям преимущественно теоретического характера, освещающим вопросы, которые видятся *важными* редакторам и рецензентам этих изданий, и соответствующим представлениям о том, что такое *хорошая* статья (об этом см.: [Yonay, Breslau 2006]). Примечательно, что в наиболее престижных журналах по экономике российские авторы присутствуют только в случае наличия докторской степени, полученной в одном из престижных американских университетов, или в соавторстве с западными (американскими) экономистами.

Таким образом, участие в «мейнстриме» экономической науки в большинстве случаев требует не только знания работ ведущих западных экономистов и общей «интернациональной» ориентации, но и специфических профессиональных компетенций,

которые можно приобрести путем обучения и социализации на ведущих американских факультетах (или на факультетах, где образование организовано по американскому образцу). Это отчасти объясняет, почему, несмотря на существенные стимулирующие надбавки, установленные в НИУ ВШЭ за статьи в ведущих западных журналах, число таких публикаций не увеличивается так быстро, как хотелось бы авторам этой меры.

Мой второй аргумент состоит в том, что национальный (в пределе — локальный) характер дискуссий в социальных дисциплинах не является *аномалией*, но *конститутивным условием* их развития. Культурно-исторический анализ развития социальных наук в разных странах показывает, что дисциплины (география, этнография, социология, но также статистика и экономические науки) институционализировались с конца XIX в. в тесной связи с национальными контекстами. В частности, социологами и историками наук была показана тесная связь между формированием государств-наций и социальных наук (см., например: [Wagner, Wittrock, Whitley 1991]). Различия в природе заказа со стороны государства, в политической культуре, в параметрах образовательной системы, наряду с рядом других факторов, имели результатом то, что сложились очень разные научные культуры в отдельных европейских странах и в США [Fourcade 2009]. Разумеется, это не исключало различных форм (взаимо)влияний и интеллектуальных трансферов.

При этом связь социальных наук с национальными контекстами не означает, что они не могли или не могут породить значимые для науки явления: немецкая историческая школа, российская организационно-производственная школа, американский институционализм, британская традиция кейнсианства — лишь несколько примеров, которые можно привести в связи с экономической наукой.

Пространственный принцип организации социальных наук входит в противоречие с требованиями *интернационализации*, которая в пределе также означает — по крайней мере, в случае экономической науки — использование унифицированной методологии и делокализацию объектов исследования. Вместе с тем социальные науки характеризуются *принципиальной неустраимостью* локального объекта исследования (в некоторых дисциплинах, например в антропологии, ведутся дискуссии о том, в какой мере различные объекты исследования требуют различных методологий). Это создает целый ряд напряжений между условиями существования национальных академий и требованиями эпистемического и пространственного универсализма, согласующимися с идеалом кумулятивной науки.

Таким образом, оппозиции, которые скрываются за дихотомиями «столичный» vs «туземный» или «провинциальный» vs «туземный», могут иметь не только политическое, но и когнитивное, эпистемическое измерение. В случае российских экономических (и шире — социальных) наук политическая составляющая оппозиции научного национализма и космополитизма проявляется более отчетливо в силу того, что они более зависимы от политического курса страны (авторы обсуждаемой статьи совершенно правы, подчеркивая этот аспект проблемы). Следуя анализу Бурдьё, чем менее автономной является национальная наука, тем в большей степени научные ставки перекрываются в ней политическими. Похожая ситуация наблюдается в Латинской Америке и других периферийных и полупериферийных регионах. Но даже в российском случае сведение оппозиции между «провинциальной», интернационально ориентированной, и «туземной» наукой к идеологической оппозиции «Болотная / Поклонная» представляется излишним упрощением. Многие коллеги, которых можно легко отнести к лагерю «провинциалов», были настроены скептически по отношению к «Болотной»; напротив, многие левые активисты, включая сотрудников вузов и академических институтов, и даже националистические силы активно участвовали в митингах в период с конца 2011 по начало 2013 г.

4
5

Вопрос о возможном вкладе социальных ученых, не принадлежащих к академии страны-гегемона, во «всеобщее дело науки» (т.е. *мейнстрим*) в условиях глобализованной академии является наиболее сложным. В качестве примера успешных попыток такого рода можно привести регуляционистскую школу, экономику конвенций или экономику качеств во Франции, которые предложили теоретическую и методологическую критику экономического мейнстрима. Эта критика не может быть редуцирована к простым политическим различиям (и не может быть легко откинута в качестве некомпетентной, хотя эти авторы неохотно цитируют работы, относящиеся к мейнстриму). Данный случай не укладывается ни в определение «туземной» науки (эти экономисты хорошо осведомлены о том, что происходит в «столичной» науке), ни в определение «провинциальной» (они пытаются создать альтернативу «мейнстриму»).

Как подсказывает упомянутый выше пример французских экономических гетеродоксий (но также можно вспомнить Чикагскую школу социологии и множество других примеров), наличие собственных теоретических амбиций является непременным условием привлечения к себе внимания «столичных» коллег, но также коллег с мировой академической периферии. В отсутствие абсолютного критерия для определения «вклада в науку» в конечном счете эта проблема упирается в вопросы

«признания» и «качества», которые отчасти связаны друг с другом, *но вместе с тем отсылают к разным проблемам.*

Проблема признания является существенным препятствием для ученых вне англо-американского мира, поскольку мейн-стримная наука, как правило, не испытывает тревожности из-за того, что за границами ее мира может «происходить что-то важное». Тем самым она сама не вполне соответствует нормативному идеалу кумулятивной науки. История науки полнится примерами, когда «столичная» наука (после Второй мировой войны — американская) изобретает велосипеды, игнорируя (а чаще — попросту не зная) достижения ученых из других стран.

В этом смысле интересен пример параллельного изобретения линейного программирования в СССР и США как области прикладной математики, нашедшей применение в экономике. Этот метод был впервые открыт советским математиком Леонидом Канторовичем в конце 1930-х гг. и «переоткрыт» на Западе лишь в 1950-е гг. Первенство Канторовича было признано «столичной» наукой, олицетворяемой *par excellence* Нобелевским комитетом, лишь благодаря доброй воле и настойчивости одного из американских изобретателей линейного программирования, Тьяллинга Купманса. В конечном счете, Нобелевская премия по экономике за это открытие была присуждена Канторовичу и его американскому коллеге [Bockman, Bernstein 2008].

Но такие истории с хорошим концом являются скорее исключением. Пересечение академических границ науки «центральной» с полу- или периферией становится в некоторых случаях возможно благодаря интеллектуальному запросу в «столичной» академии, наличию союзников в престижных институтах, работе издателей и переводчиков (см., например, статью Мишель Ламонт об американской карьере Жака Деррида: [Ламонт 2009]). Кроме того, хорошие шансы на успех может дать альянс с критически настроенными «маргиналами» из числа столичных академиков (например, представители постколониальной критики в социальных науках нашли свое место в мейнстриме американской и британской социологии). Но так или иначе попадание в мейнстрим никогда не может быть случайным или спонтанным в силу структурных ограничений, которых я коротко коснулась выше. Ученые из «внешнего мира» удостоиваются внимания «столичной науки» лишь в случае, если в силу тех или иных обстоятельств оказываются ею востребованными.

В силу этой асимметрии феномен глобализации науки по американскому образцу является бесконечно двусмысленным с точки зрения шансов национальных академий внести замет-

ный вклад в «мировую науку». С одной стороны, переход на английский язык и принятие стандартов научной работы и практик, характерных для высоко конкурентной «столичной» науки, может создать стимулы для повышения общего уровня страны-реципиента (стандарты публикаций и проч.) и коммуникации с коллегами из других стран (для преодоления изоляции). С другой стороны, интернационализация и идущие с ней рука об руку неолиберальные тренды в научной политике (требования «эффективности», включая встраивание в системы «международных» университетских и журнальных рейтингов) способствуют провинциализации науки в значении увековечивания ее второстепенного статуса.

Вопрос о нахождении «третьего пути» в этих условиях в большой степени является риторическим. Но мне бы хотелось немного поразмышлять на эту тему, отталкиваясь от примера Франции, которая на протяжении многих лет символизировала «срединный путь» в контексте соревнования двух сверхдержав.

Французские социальные науки в наименьшей степени испытывали эффекты «провинциализации» приблизительно до 1980—1990-х гг., производя оригинальные теории и имея собственные зоны влияния (бывшие колонии, Латинская Америка и т.д.). А французская социология до сих пор является относительно самодостаточной в том смысле, что здесь можно, к примеру, написать диссертацию, основываясь почти целиком на французских источниках. До недавнего времени это не проблематизировалось в качестве негативного явления. Экономические науки представляют контрастный пример, являясь сегодня наиболее интернационализированной областью социальных наук и одновременно — менее заметной в производстве оригинальной теории. При этом относительно небольшая группа экономистов выступает с резкой критикой мейнстримной экономической науки и образования (как «интеллектуально стерильной», «тоталитарной», «политически ангажированной») — вплоть до попыток институционально от нее отделиться и создать новую дисциплину.

Провинциализации французской науки (как до этого — немецкой) в последние годы способствует усиление американской гегемонии (требование публиковаться в англоязычных журналах влечет за собой навязывание специфических проблем и стандартов работы). Но еще большую опасность для автономии французской науки несут изменения в научной политике, связанные с распространением практик «нового публичного менеджмента», который стремится перестроить деятельность исследовательских организаций и университетов

на манер эффективных предприятий. В условиях сокращения государственного финансирования последние вынуждены переходить на поточно-проектную систему работы, которая ставит их в зависимость от политического и экономического заказа (грантодателей, государства или бизнеса). Кроме того, сокращаются сроки на проведение исследований, что разрушает традиционный исследовательский цикл: несколько лет интенсивных исследований — серия коротких публикаций — книга. Наконец, количественные формы оценки продуктивности стимулируют ученых публиковаться быстро и много, что опять же не может не сказаться на качестве публикаций. В последние годы протестное движение во Франции было нацелено именно против этих тенденций академической реформы, которые ведут в направлении их все большего подчинения чисто экономической (и политической) логике.

Если подытожить вышесказанное, вопрос «признания» имеет, в первую очередь, отношение к местоположению в глобальной научной системе, в то время как вопрос «качества» исследований отсылает во многом к условиям исследовательской работы и научной политике. Академическая политика, способствующая преодолению изоляции российских социальных наук, включая академическую мобильность в обе стороны, пресловутый найм на «международном рынке труда», создание стимулов для публикаций в хороших зарубежных журналах (как и создание международных журналов на базе российских институций), — безусловно, нужные и полезные меры. Однако помимо их высокой финансовой стоимости проблема состоит в том, что в остальном новая научная политика в России, как кажется, способствует трендам, противоположным развитию интеллектуальной и экономико-политической автономии науки.

Библиография

- Ламонт М. Как стать самым важным французским философом: случай Деррида // Логос. 2009. Т. 72. № 4–5. С. 3–42.
- Bockman J., Bernstein M.A. Scientific Community in a Divided World: Economists, Planning, and Research Priority During the Cold War // Comparative Studies in Society and History. 2008. Vol. 50. No. 03. P. 581–613.
- Fourcade M. Economists and Societies: Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Wagner P., Wittrock B., Whitley R. (eds.). Discourses on Society. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991. Vol. 15.
- Yonay Y., Breslau D. Marketing Models: the Culture of Mathematical Economics // Sociological Forum. 2006. Vol. 21. No. 3. P. 345–386.

МИХАИЛ КРЫЛОВ

Я предпочел бы более общую постановку вопроса, которая призвана прояснить ситуацию с «нормами академического мира». Действительно ли эти нормы предполагают движение единой колонной к единой цели, как это подразумевается в исходной постановке? С самого начала необходимо оговорить, что отдельные науки (понимаемые как институционально, так и в смысле отдельных отраслей знания) и в мировом, и в национальном масштабе находятся между собой в весьма своеобразных отношениях, обусловленных принципиальными различиями в трактовке роли важнейших основополагающих принципов, связанных, например, с соотношением формализованного и неформализованного, дедуктивного и индуктивного, массового в противовес единичному и универсального — в противовес уникальному.

Здесь характерна ситуация, когда часть наук провозглашает себя лидером (лидерами), а свои подходы — эталонными (ср.: «экономический империализм»), считая других «туземцами». Однако большинство наук чаще всего предпочитают «туземную» стратегию, не признавая, однако, себя «туземцами» (т.е. не считают свои подходы, идеи и результаты не имеющими всеобщего значения, не достойными интереса зарубежных коллег и т.д.). Науки, ориентированные на уникальное (этнография, история, география) — «идеографические» науки или же науки, сочетающие «идеографические» и «номотетические» подходы, в особенности предпочитают «туземную стратегию».

Дальнейшее обсуждение требует ответа на следующие вопросы.

1) *Допустима ли (правомерна, закономерна) специфика (в культурно-цивилизационном смысле, например, в духе культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского) в науке? Соответственно, имеют ли право на существование научные школы вообще и национальные*

научные школы в особенности? Включает ли общемировое также и национально-специфическое, являясь его синтезом, или же общемировое в науке — это всего лишь одна из научных школ, допустим, англо-американская, но вовсе не германская (российская и др.)? С нашей точки зрения, здесь необходимо сослаться на статью А.В. Юревича [1999], в которой речь идет, в частности, об ориентации отечественной традиции (в отличие от западной) на идею целостности, которая объективно играет весомую роль в мировой науке, однако не очень популярна в западной науке.

2) В какой мере сама специфика изучаемого накладывает ограничения на стремление к универсальности и «преодоление» туземной («туземности») науки? Например, если мы изучаем Ивана Грозного и опричнину, то для начала мы должны выявить и обобщить свою собственную, «туземную» эмпирику. Круг популярных сюжетов (и подходов к их изучению) отчасти может быть «мировым» (= западным), например при изучении популярных ныне форм «отклоняющегося поведения» в Новгороде периода Смутного времени, однако решающее слово все равно здесь, несомненно, принадлежит (должно принадлежать) отечественным специалистам. Западные работы в таком случае — это компиляция (нередко — тенденциозная или поверхностная) из отечественных. То же относится к изучению идентичности, проблем нацистроительства и многих других.

Реальные культурные процессы в современных России и Украине из-за океана часто видны хуже. Западный («не туземный»!) наблюдатель не проводит экспедиционные исследования, а выражает свою точку зрения, основанную на теории, разработанной без учета данных реалий. Кроме того, сам смысл феноменов очень часто меняется в разных культурных и социальных контекстах, и результаты исследований в связи с этим оказываются несопоставимыми. Поэтому изучение региональной идентичности в России или Украине (см., например, работы автора) никак не аналогично соответствующим работам по изучению региональной идентичности в США [Крылов 2010: 16–19]. В данном случае изучаются разные стороны формально единого (всеобщего) явления (здесь возможна дискуссия на тему: номинализм — реализм — объективизация).

Равным образом, экономическое обоснование мер по защите окружающей среды от загрязнения имеет разный смысл в разных странах с разными социальными условиями и технологией производства. Поэтому теории и методы экономики природопользования, внедряемые со времен СССР (экономические ущербы от загрязнения, экономическая эффективность природоохранных мероприятий), у нас не работают. (В советское

время об этом многократно заявлял к.т.н., снс СОПС при Госплане СССР Е.М. Подольский. См. также обсуждение этих проблем в журнале «Экономика и математические методы» [Подольский 1986].)

Отечественный социолог А.Ф. Филиппов отстаивает точку зрения о значительной самодостаточности научного изучения отдельной страны; понятно, что интеллектуальный багаж должен иметь элемент всеобщности, однако роль местной специфики очень велика. Он пишет, что, хотя «научное знание и универсально», «все-таки национальная или региональная специфика обнаруживается почти всегда, в том числе и тогда, когда речь идет о фундаментальных теоретических проблемах» (см.: [Филиппов 2008: 7]). Сходная позиция у С.Г. Кирдиной [2008: 20–21], которая считает, что попытки применения концепций мировой науки, основанной на западной ментальности, для России и других «незападных» стран «зачастую хороши при анализе новых явлений, но слабо применимы для изучения глубинных и долговременных тенденций. <...> Социальная реальность России и СНГ, государств Юго-Восточной Азии и других регионов <...> не вписывается в рамки предлагаемых теорий».

Если журнал «Славяноведение» выпускается в Москве, то он якобы «туземный», а если в Сеуле, то он уже универсальный и мировой — так можно понять исходную постановку. На самом же деле, в Москве находится мировой центр по изучению проблем славяноведения, а в Сеуле пытаются «обобщить зарубежный опыт», т.е. занимаются (может быть, довольно успешно) «провинциальной» наукой.

3) *В какой мере допустимо идти параллельно, своим путем к общей цели (общим целям)?*

4) *Есть ли объективные критерии оценки «мирового», универсального значения вклада в науку, с учетом специфики (национальных) научных школ?* По-видимому, универсальное сочетается с уникальным (это всеобщий принцип). Однако то, что опережает («свое») время, оказывается подозрительным на предмет «туземности» (пока Эшби не изобрел теорию систем, похожую на «Тектологию» А.А. Богданова, тот мог считаться «туземцем», «кустарем»). А.С. Пушкин не «туземный», а Андрей Платонов — «туземный». Вообще, сам феномен научных школ — это признак «туземной науки», но если мы признаем научные школы, то тогда мы должны признать и правомерность (неушербность! неизбежность!) «туземной науки».

Между тем феномен множественности научных школ характерен и для мировой науки, вне зависимости от «национальных

рамок» (допустим, монетаризм — кейнсианство и т.д.). Однако часть научных школ тяготеет именно к национальным научным школам. Например, понятие «экосистема» — это проявление англоязычной научной школы (англо-американской), ландшафт — германской и российской, учение о географической оболочке А.А. Григорьева и учение о биогеоценозе В.Н. Сукачева — российской научной школы. А подлежит ли третированию краеведение как «туземщина»?!

5) *Как быть с феноменом «русофобии» (не в смысле И.Р. Шафаревича, а в смысле непризнания российского, русского, славянского, т.е. русофобии как одной из форм ксенофобии, а не мифа о русофобии)?* Допустим, как быть с распространенным непризнанием М.В. Ломоносова (см., например, статью об игнорировании открытия М.В.Ломоносовым атмосферы Венеры и необходимости проведения соответствующего эксперимента, который мог бы доказать приоритет отечественной науки [Нестеренко 2013]), или не полное признание идей В.И. Вернадского (см. статью [Аксенов, Земцов 2011]). Г.П. Аксенов, А.Н. Земцов [2011: 454] пишут, имея в виду комментарии редакторов к изданию «Биосферы» В.И. Вернадского в США: «Самые большие примечания сделаны к авторскому предисловию, где заявлена позиция Вернадского, затем комментируются параграфы <...>, где сформулирована концепция. Как же редактор ее разъясняет? Опираясь на нашу литературу, в частности, излишне доверяя А.И. Опарину, он считает обобщения В.И. Вернадского несколько избыточными. Приведем примеры. <...> “Здесь Вернадский развивает славянскую версию систематического или сильного униформитаризма теории, согласно которой ничто на Земле не изменяется” [выделено нами. — М.К.]. А в комментарии к <...> “Эмпирическим обобщениям” [редактор. — М.К.] вновь подчеркивает: “Мы видим в этом глубокое различие между западной (экстраполяция, предсказания) и российской науками (напористое научное обобщение)”» [выделено нами. — М.К.]. Заметим, что в отечественной науке концепция «эмпирического обобщения» считается одной из важнейших в научном наследии В.И. Вернадского, ярким примером вклада России в общемировую науку.

Библиография

- Аксенов Г.П., Земцов А.Н. Необычная судьба книги академика Вернадского «Биосфера» // Вестник РАН. 2011. Т. 81. № 5. С. 450–455.
- Кирдина С.Г. Современные социологические теории: актуальное противостояние // Социологические исследования. 2008. № 8. С. 18–28.
- Крылов М.П. Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф, 2010.

Нестеренко А.Р. Видел ли Ломоносов атмосферу Венеры? // Природа. 2013. № 4. С. 11–19.

Подольский Е.М. Нужна совсем другая методика (Проблемы повышения экономической эффективности природопользования. Круглый стол) // Экономика и математические методы. 1986. № 6. С. 1125–1127.

Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008.

Юревич А.В. Психологические особенности российской науки // Вопросы философии. 1999. № 4. С. 11–17.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ

Белый человек в джунглях туземной науки: независимый взгляд на «академическую миросистему»¹

Наука в нашей стране, как трава на дворе у нерачительного хозяина — растет сама по себе, клочковато и местами.

А.П. Кулешов, академик РАН

В слове «мы» — сто тысяч «я»... в городах и селах

Знакомство с неординарными взглядами социологов М. Соколова и К. Титаева² на проблему поддержания профессиональной коммуникации в российской академической науке, а через нее — на возможные поведенческие формы в научном мире вызвало желание высказаться несколько шире, чем предполагают вопросы, поставленные на повестку дня редколлегией журнала «Антропологический форум». Остроты впечатлениям добавили события и публикации, так или иначе связанные с шумными диссертационными скандалами, выборами

**Александр Александрович
Кузнецов**

независимый исследователь,
Красноярск
smallcity@mail.ru

¹ Благодарю редколлегию «АФ» за предоставленную возможность выразить собственное мнение по весьма болезненной для российского академического сообщества теме. Содержание эссе было существенно скорректировано в связи со стремительной законодательной инициативой Минобрнауки России по полному реформированию РАН. Надеюсь, объем, несколько выходящий за предложенные рамки десяти страниц, как и проявление собственной гражданской позиции по указанному вопросу, не помешает принять данный текст к публикации.

² С удовольствием прочитал в прошлом году статью последнего о причинах низкой эффективности преподавания в российских вузах, соотнеся с собственными впечатлениями и мыслями на эту тему [Титаев 2012].

Президента РАН и попыткой ее стремительного уничтожения реформирования.

Имевшее место вначале неспешной «беседы» с авторами внутреннее согласие с их подходом (в части методики рассмотрения предмета исследования) обернулось затем некоторым недоумением, переросшим в один-единственный вопрос: какова цель подобной социологической стратификации академической «миросистемы»?

На мой взгляд, постановка проблемы и способ ее проявления свидетельствуют скорее о желании «профессионалов» очертить себя спасительным кругом от «непрофессионалов», воспользовавшись пресловутым противопоставлением «свой — чужой», «мы — они». Если ранее в отечественной науке существовало устойчивое деление на академическую (фундаментальную) и отраслевую (прикладную), то теперь оно может уступить место иной, «ненаучной», градации. Деление на «столицу» и «провинцию», «культурный центр» и «туземные окраины» — это в чистом виде идеология, причем не первой свежести. И в условиях федеративного «локутного одеяла» современной России весьма опасный путь конфронтации и регионального научного «сепаратизма». А самое печальное заключается в том, что в результате смещения акцентов в плоскость различий «культурных кодов» разговор уходит в сторону от обсуждения накопившихся за годы постсоветской жизни личностных и групповых противоречий между желаемым и действительным, потребностями и способностями. Такой вот когнитивный диссонанс!..

Для современной России характерна «мода на сведение всего социального многообразия к иерархиям доминирования»¹, в том числе, как следует из инициированной дискуссии, в области профессиональной коммуникации. Возможно, кому-то мое суждение покажется чересчур резким или обидным, но в постулировании идеи «туземной» науки мне видится всего лишь попытка представителей высококвалифицированного меньшинства из профессионального научного сообщества отгородиться от низкоквалифицированного большинства, прикрывшись для приличия камуфляжем из идеальных социологических абстракций в духе Макса Вебера. Этаким интеллигентный вариант социального (читай видового) *доминирования* в академической среде. И всё это на фоне бурных внутрисполитических фрустраций, ныне западным ученым не ведомых.

¹ Крупкин П. Мем доминирования: К проекту архаизации России <www.apn.ru/publications/print19550.htm> (дата обращения: 26.06.2013).

Автор рецензии на книгу Джона Брокмана «Во что мы верим, но не можем доказать. Интеллектуалы XXI века о современной науке» (М.: Альпина нон-фикшн, 2011) с нотами недоумения констатирует: «Чего совсем нет [в голове у современных зарубежных исследователей], так это размышлений, идей и мечтаний по поводу устройства общества. То ли это дело безнадежное, то ли всем довольны, но только даже представители общественных наук об этом не говорят» [Любарский 2013]. Что ж, можно порадоваться за наших соотечественников, которые вопреки молчанию западных социологов всерьез задалась подобным вопросом!

Пытливо вникая в теоретические построения авторов, не можешь до конца избавиться от мысли, что в основе их глубоко продуманной концепции, подкрепленной множеством примеров, кажущихся вполне убедительными, лежит не реальная дихотомия двух «академических миросистем», а старый европейский антагонизм между просвещенным «белым человеком» и дикими «туземными племенами», когда первый, будучи преисполнен чувством внутреннего превосходства, вынужден мириться с обычаями и нравами вторых¹. Страх быть «съеденным» (поглощенным варварами «с раскосыми и жадными очами») для европейской культуры, вероятно, сентенция архетипичная.

Тема бытования подобий «идеальных типов» академической коммуникации, рассмотренная в статье М. Соколова и К. Титаева на ярком материале российской социологии, имеет несколько уровней осмысления:

- «*провинциальность*» академической науки как следствие падения профессионализма научного сообщества (процесс, характерный и для центра, и для периферии); крайняя степень такого падения — «профанность», из-за которой в основном и испытывается «псевдоучеными», играющими в науку по «общим правилам» (возможно, и желающими быть истинными исследователями, но в силах только казаться ими), внутренний дискомфорт от угрозы «разоблачения» их непрофессионализма (качества диссертационных работ, например);
- «*туземность*» отечественной науки как следствие политического «парада суверенитетов» 1990-х гг. и институционализации национальных научных сообществ (к примеру, Татарстан и Чувашия в Среднем Поволжье или Тыва и Хакасия на юге Центральной Сибири);

¹ В русскоговорящей среде в таких случаях на ум приходит весьма скабрзная поговорка про Д'Артаньяна и «папуасов»...

- «*регионализация*» (локальность) гуманитарных научных дисциплин как повсеместный ответ на вызов общей глобализации;
- «*национализация*» науки в России как следствие «утечки мозгов» и провалов в организации информационных банков данных, утраты ведущих позиций по ряду стратегических научных направлений. «В советское время мы имели прекрасную информационную систему науки. Русский язык был один из четырех мировых языков, на котором можно было получить достаточно полную информацию обо всех достижениях научного прогресса»¹. Буквально за считанные годы эти достижения ушли в прошлое.

Обосновывая наличие в отечественной социологии и академической науке в целом двух «идеальных типов» коммуникации и поведения, авторы поставили во главу угла «форму адаптации к коммуникативной дистанции» — критерий сомнительный хотя бы на том основании, что межсубъектная коммуникация, нацеленная на обмен знаниями (т.е. научный диалог), вторична по отношению к процессу получения исходного (первичного) знания и является следствием, а не причиной форм поведения той или иной научной страты. Содержательное общение двух взаимосвязанных в рамках одной системы субъектов, имеющее целью обучение одного из них, суть качественный признак иной социальной сферы — образовательной. Так же, как и приказ, отличающий коммуникацию в области управления от иных видов социальных взаимодействий.

Вызывает сомнение научная обоснованность обозначения выделенных абстракций терминами, имеющими устойчивые оценочно-смысловые значения в отечественной культурной традиции. Иначе, развивая дискуссию далее, можно найти иные «ненаучные» маркеры, вычленив из рядов российского научного сообщества, например, «преподавателей невысокого уровня», «иностранных агентов» и «лишних людей»...

Компас идей в стране дураков чудаков

Перефразируя академика А.П. Кулешова, возможность заниматься тем, что интересно, — это главный стимул и неотъемлемое право каждого ученого [Кулешов 2013]. Не скрою, мне как исследователю повезло: не будучи связанным ни зарубежными грантами, ни отечественными кафедрами (и там, и там большая часть бесценного времени уходит на бюрократическую

¹ Малыгин А.Г. [Текст доклада]. <<http://derzava.com/statji/malygin-doklad.html>> (дата обращения: 25.05.2013).

рутину), а только нравственными идеалами и моральными обязательствами, могу концентрировать всё свое внимание на интересующих меня проблемах. Правда, для успешной концентрации требуется ряд важных условий.

Это, в первую очередь, стабильный источник дохода, достаточного для удовлетворения основных потребностей (в моем случае таковым источником является госслужба). Во-вторых, для семейного человека, наличие некоторого «личного времени», выведенного за рамки внутрисемейной коммуникации и выполнения обязанностей. В-третьих, живой интерес к явлениям и процессам окружающего мира, стремление понять (уяснить, упорядочить) то, что является важным (значимым) для себя самого не в силу внешних обстоятельств, а по внутреннему убеждению.

Наличие данных условий подразумевает определенную свободу, независимость, *самодостаточность* как личностную, так и профессиональную. После, условно говоря, 33 лет (в идеале) не «среда» делает тебя тем, кто ты есть, а ты сам формируешь пространство (социальное в том числе) вокруг себя: готовишь (воспитываешь) наследников (правопреемников), строишь дом (в прямом и переносном смысле), сажаешь и растишь дерево (также и в прямом (сад, огород), и в переносном (идеи как семена) значении). Мне такие Личности известны из собственного опыта социальных коммуникаций. Следовательно, есть на кого равняться, без желания быть кем-то и где-то замеченным (процитированным). Это наилучшее, на мой взгляд, «естественное доминирование» через внутреннюю самодостаточность (конкуренция здесь исключена по определению).

Критерии успешности в академической науке сегодня зачастую понимают с позиций западных бизнес-моделей, где идея расценивается как товар, и чем она популярнее, тем выгоднее ее можно продать¹. Сразу возникает вопрос (который активно обсуждался сетевыми комьюнити пару лет назад): ради чего и к чему стремится ученый, продвигаясь по пути «открытий чудных»? К материальной выгоде, славе и, в итоге, социальному доминированию? Тогда как быть с профессионалами, которые находят ответы там, где другие бессильны, и при этом отказываются от крупных денежных вознаграждений? А ведь

¹ См., например: Федюкин И. России необходимо «гуманитарное Сколково» <<http://madan.org.il/node/788>> (дата обращения: 18.06.2013). Административная звезда Федюкина в этом году ярко мелькнула по министерскому небосклону и, не выдержав плотной атмосферы образования и науки, сгорела без остатка, как известно... Иного взгляда на науку в условиях рыночной экономики придерживается, например, д.б.н. А.Г. Малыгин: «Первейшая задача правительства состоит в том, чтобы озадачить ученых и обеспечить им материальные условия для решения проблем вывода страны из кризиса» (Рыночная наука — это отсутствие науки. <http://derzava.com/statji/malygin_rynochnaya_nauka.html> (дата обращения: 24.06.2013).

в мире (в том числе научном) полно чудачков, и их влияние на него весьма непредсказуемо.

Для меня наука в настоящее время — не способ заработать, а лишь увлечение, интеллектуальное хобби, основанное, правда, на достаточной профессиональной подготовке и десятилетнем «стаже работы» в сфере производства и ретрансляции гуманитарного знания. На протяжении последних нескольких лет независимо от «туземных», «провинциальных» и иных академических научных сообществ по мере сил, но всегда с удовольствием (без каких-либо внутренних понуканий) занимался изучением различных теоретических и прикладных проблем на стыке антропологии, культурологии, музеологии, юриспруденции и истории. Среди приоритетных проектов — «андропарки как антропологический источник», «сиюминутная история», “Internet vs. Copyright”, теория и практика сохранения культурного наследия. Будучи жителем отдаленной от обеих столиц «провинции», не чувствую особого недостатка в профессиональной коммуникации и в источниках для своих «штудий» благодаря достижениям информационно-коммуникационных технологий.

Интерес к научному направлению «антропология академической жизни» проявил в итоге мой обособленный — если угодно «маргинальный» — статус «независимого исследователя» (идея д.и.н. Г.А. Комаровой, в.н.с. ЦИМО ИЭА РАН) или «универсального дилетанта» (самоопределение проф. А.А. Любичева¹).

В любом случае исследовательская независимость предполагает наличие у «любителя» необходимого уровня квалификации и набора исследовательских компетенций (способностей применить знания, умения, навыки), соответствующих сфере научных интересов. Пожалуй, лучшая аналогия (авторы обсуждаемого исследования любят пользоваться данным приемом) — это обер-офицеры Генерального штаба Российской империи в эпоху Великих реформ XIX в., которые, состоя на службе Государю и Отечеству и находясь «при исполнении», профессионально занимались исследованиями по самым разным направлениям, успешно сочетая выполнение своих должностных обязанностей с научной работой.

Вместе — дружная семья

Умножать, как известно, всегда приятней, чем делить. А еще лучше приумножать! Наука в России, как и общество в целом,

¹ «Я — кто? Я — дилетант, универсальный дилетант. <...> То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие» [Гранин 1974: 9].

находится на стадии перехода из одного «агрегатного состояния» в иное (какое именно, пока сказать затруднительно). «Хворости и горести» во все времена преодолевать сообща было легче, чем порознь. Поэтому тенденция к обособлению и самобытности, характерная для «нулевых» (как следствие политической и экономической свободы, дарованной регионам центром в 1990-е гг.), по моему глубокому убеждению, должна уступить место осознанному стремлению интеллектуалов к налаживанию внутри- и внесистемных коммуникаций с целью скорейшего освоения научного фронта (с учетом существующих отставаний и провалов в определенных областях знания) безотносительно принадлежности к «столице», «провинции» или «туземным окраинам» научного мира.

И если прикладной корпус наук ориентируется на поддержку бизнес-элит, то в фундаментальной науке изменить ситуацию к лучшему может только «госзаказ». Поэтому путь конфронтации с государством в лице конкретного министерства или правительства в целом видится бесперспективным, так как сильный всегда прав! Отчаянная попытка сплочения представителей высшей школы под лозунгами «долой L» и «за профсоюз» стала очередным микрополитическим казусом на пути глобальных административных реформ¹. В мае этого года состоялись выборы нового Президента РАН, от которого во многом зависит вектор дальнейшего пути развития российской академической науки и благополучие ее представителей, в том числе в связи с грядущей «оптимизацией»².

Для последнего десятилетия российской жизни характерна одна всепроникающая особенность — имитация деятельности, а не сама деятельность как таковая. Вероятно, отчасти по этой причине ощущающих себя «не в своей тарелке» граждан, «часто не понимающих, что к чему», в нашей стране с 1992 г. ничуть не стало меньше, а наоборот, число таковых выросло

¹ Открытое письмо несуществующему сообществу преподавателей российской высшей школы [Электронное письмо]: korablevav@mail.ru (получено 29.11.2012).

² В пятницу, 28 июня 2012 г., Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу проект закона о реформе РАН «в целях оптимизации организационно-правовых механизмов управления российской фундаментальной наукой, повышения эффективности фундаментальных и поисковых научных исследований, обеспечивающих получение научных результатов мирового уровня» (Цит. по: <http://www.gazeta.ru/science/news/2013/06/28/n_3004557.shtml>, дата обращения: 28.06.2013). Реакция академиков, как ранее представителей «неэффективных» вузов, последовала незамедлительно в виде открытого письма первым лицам государства и вождям ведущих политических партий (см.: <<http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/actual/otkrytoe-pismo>>). Может, у именитых ученых мужей потенциал действовать результативно будет выше, чем у их безвестных «провинциальных коллег» по науке? Полагаю, результат «стремительной оптимизации» сверху будет зависеть от административного умения и потенциала г-на Фортובה, в том числе коммуникационного, в диалоге (если таковой еще возможен) с исполнительной и законодательной властью.

с 35 до 40 %¹. И в государственных структурах, и в научных кругах, и в сфере образования повсеместно сталкиваешься с «как бы» управлением, «как бы» изучением и «как бы» преподаванием. Первопричины подобного кажущегося бытия, как правило, разные (например, лень или страх потерять «синицу в руках»), а результат один: провалы в административной реформе², научной работе и подготовке компетентных специалистов.

Каков реальный «действенный» потенциал академического сообщества? Затеянная властью скоропостижная и всеохватная реформа РАН либо сплотит научные круги, либо внесет окончательный раскол в их ряды, и поляризация страт будет идти вовсе не в плоскости «провинциальной» и «туземной» науки. Можно, конечно, согласиться с точкой зрения директора ИППИ им. А.А. Харкевича РАН А.П. Кулешова («Академия — самоуправляемая общественная организация с громадной историей, она пережила крушение Российской империи и распад СССР. Надеюсь, что и развал нынешней формы российской государственности Академии удастся пережить с минимальными потерями»³). Но что значит «пережить»⁴, каковы содержание и конечный результат этого *как бы делания*? Ведь ныне в спину РАН нервно дышат государственные вузы, чьи активы полностью сосредоточены в министерских руках и чье желание быть «эффективными» затмевает здравый смысл и традиции российского образования. Может быть, пришло время действовать по-настоящему, асимметрично, но главное — сообщая отвечая на чувствительные «вызовы» времени? Например, вывести ВАК из подчинения Минобрнауки России, доверив утверждение и присуждение научных степеней

¹ Исследование ВЦИОМ: насколько россияне довольны своей жизнью в 2013 г. по сравнению с 1992 г. <<http://gtmarket.ru/news/2013/01/28/5332>> (дата обращения: 26.06.2013).

² По оценке В. Прокофьева, заместителя генерального директора по направлению «Городское хозяйство» ИЭГ, «сегодня правит логика стихийного процесса. Люди во главе государства больше увлечены процессом перераспределения собственности. <...> Эта команда просто не думает о последствиях. В ситуации давления, в стрессовой ситуации, эти люди склонны принять любое решение, лишь бы побыстрее. Потому что все мышление завязано на руление финансовыми потоками, а единой целостной стратегической политики они не проводят» (цит. по: Чеховский Н. Квартплата или жизнь <<http://svpressa.ru/economy/article/68876>> (дата обращения: 06.06.2013)).

³ <<http://rabkor.ru/news/2013/06/28/academy-vs-livanov>> (дата обращения: 28.06.2013).

⁴ В русском языке совершенному виду глагола «пережить» (в значении «остаться в живых после чего-нибудь», «испытать какое-нибудь ощущение или впечатление») соответствует его несовершенный вид *переживать*, у которого масса нелицеприятных коннотаций, например: болеть, терпеть, полониться, менжеваться, морочиться, опсихевать, мучиться, бояться, кошки на душе (сердце) скребут, делить, горячиться, быть (сидеть) как на иголках, сидеть как на раскаленных углях, болеть душой, не находить себе места, не знать покоя, мыкать горе, колыхаться, беспокоиться, ощущать беспокойство, сходить с ума, чувствовать на своей (собственной) шкуре, волноваться, тревожиться, приходить в волнение, не находить места, плавиться, засыхать, быть вне себя, испытывать, пить до дна горькую чашу, претерпевать, страдать, комплексовать, ощущать тревогу и т.д.; но всего несколько нейтральных либо положительных: чувствовать, сопереживать, пылать, познавать, фонтанировать (см.: [Словарь русских синонимов 1999]).

экспертам РАН и максимально активизировав ее работу по пересмотру итогов защиты госслужащими и политиками кандидатских и докторских диссертаций.

В. Глушенко из НТУ ХПИ в комментарии к интернет-публикации части доклада социолога С.С. Сулакшина о состоянии и перспективах гуманитарных наук в России обращается к научному сообществу с призывом действовать, подкрепленным «реальным» предложением: «Необходимо от слов переходить к делу самостоятельно, не спрашиваясь и не оглядываясь. Одним из реальных (и не дорогих) шагов является создание влиятельного экспертного сообщества. Нужны конкурсы проектов с гарантией закрепления за авторами приоритета на интеллектуальную собственность, призами. Нужна консолидация усилий с ныне разрозненными группами ученых-патриотов России»¹.

Немаловажным условием перемен к лучшему является наличие лидеров, способных на поступки, а не только красиво излагать свои и чужие мысли. Социолог К. Клеман обращает внимание, что «в России без лидера ничего не бывает. И сейчас в регионах появляются новые фигуры, авторитет которых основан на признании и доверии людей. Благодаря им люди могут действовать» (цит. по: [Андреева 2013]). В этой связи не удивительно, что инициаторами открытого письма в защиту Академии были ученые из Сибирского отделения РАН.

Для снижения «издержек» модернизации образования и науки в России, в целях сохранения профессиональной преемственности, может быть использована тактика «компромисса и сосуществования» различных научных страт, которой придерживался академик В.А. Тишков в ходе достаточно успешного обновления отечественной этнографической науки [Согрин 2011: 8]. Важным фактором здесь является открытость системных решений и ясность целевых установок. Замкнутость верхушки академической науки неизбежно порождает на местах собственные «туземные» башни из слоновой кости.

В эпоху интернет-технологий и глобальных коммуникаций градация науки на «столичную» и «периферийную» (с учетом устойчивой семантики слов «столица» и «периферия» в отечественной культурной традиции) не отвечает насущной действительности. Профессионалы в науке, где бы они ни работали и ни жили (в центре или на окраинах научной ойкумены), «вместе — целая страна!»

¹ Сулакшин С.С. Гуманитарные науки как фабрики мысли: фрагмент доклада. <http://www.rusrand.ru/mission/result/result_785.html> (дата обращения: 27.06.2013).

Резюмируя прочитанное (предложенную к обсуждению статью М. Соколова и К. Титаева) и написанное выше, коротко отвечаю на вопросы редколлегии «Антропологического форума»:

1

С определениями «туземная» и «провинциальная» наука применительно к истории, этнографии и юриспруденции категорически не согласен, считаю их популистскими и провокационными. «Столичная» наука де-факто — это научные школы (центры), расположенные не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в иных центрах научного притяжения (например, в отделениях РАН); в обыденном же стереотипном представлении «провинциалов» — то, что «внутри Садового кольца». Использование слова «туземная» в качестве «дежурного термина» для обозначения моветона в науке некорректно и бесполезно.

Более насущным вопросом существования науки в России на сегодняшний день являются не коммуникационные нюансы различных групп ученых, а избыточная бюрократизация научной работы. В докладе о состоянии науки в Российской Федерации, подготовленном экспертами РАСН, в частности отмечается, что «для получения достаточного или хотя бы минимального финансирования даже ведущие научные школы и сильнейшие ученые страны вынуждены тратить до 60 % своего рабочего времени на обслуживание забюрократизированной системы выделения средств по госконтрактам»¹.

2

Ответ на данный вопрос предполагает признание наличия «провинциальной» и «туземной» науки. Но как было сказано выше, подобное деление не учитывает всех особенностей современного состояния российского научного сообщества, поэтому, на мой взгляд, неуместно и даже вредно.

Опасно слепо копировать западные модели институциональных форм науки, модернизируя отечественную «академическую миросистему» с ее уникальным организационно-управленческим опытом². В эпоху стремительных изменений наука не может быть придатком одной из сфер экономики — услуг

¹ «Мы уверены, что наша страна готова к новому научно-технологическому рывку» (Цит. по: Доклад о состоянии науки в Российской Федерации <http://www.nanometer.ru/2013/01/01/rasn_301414.html> (дата обращения: 29.06.2013)). «Мы должны сами создавать информационные продукты, а не пользоваться чужими», — заявляет с трибуны вице-спикер Государственной думы Российской Федерации С. Железняк (Данилов В. Задача России обеспечить свой цифровой суверенитет <http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=7259&Itemid=39> (дата обращения: 27.06.2013)).

² См., например: Кушешов А. Это ошибка, смертельная для российской науки // Expert Online. 2013, 28 июня. <<http://expert.ru/2013/06/28/eto-oshibka-smertelnaya-dlya-rossijskoj-nauki/?nyu>> (дата обращения: 29.06.2013): «Пропандируемая <...> идея опоры на научные лаборатории как основную движущую силу прогресса выглядит привлекательной только для тех, кто никогда и ничего не делал для практики и на практике. Эта форма хороша для международного сотрудничества, но не более того».

(образования) или производства (промышленности). Для достижения стратегических целей, стоящих перед государством и обществом, наука сама должна занять краеугольное положение, расширяя горизонты и объединяя в единую систему все структурные элементы нашего социума. Неоспоримый факт, что далеко не все преподаватели — стоящие ученые, как не все рабочие и инженеры — успешные рационализаторы производства. Верно и то, что среди истинных ученых лишь немногие обладают даром преподавания, способны простым языком доходчиво объяснить студентам сложные явления и процессы мироздания, зажечь огнем познания их сердца.

Что касается региональных поведенческих форм фундаментальной и отраслевой науки, то они порой более консервативны и «академичны», чем формы бытования ведущих научных школ системы РАН (противоположный полюс — исследовательский демократизм и открытость лабораторий системы НКО). Как верно подметила недавно одна московская журналистка, характеризуя научно-преподавательскую среду далекого от столицы Ижевска, «изысканная аристократическая вежливость в стиле ретро — здесь это принято» [Андреева 2013].

Из личного опыта могу сказать, что к приглашенным преподавателям на кафедрах крупных вузов Среднего Поволжья и Центральной Сибири отношение, как правило, ровное и доброжелательное. Но стремление войти в сложившийся с годами научно-педагогический коллектив на правах равного (т.е. с собственными взглядами и убеждениями) может вызвать неоднозначную психологическую и эмоциональную реакцию «старослужащих»: от искреннего удивления до нескрываемого раздражения.

3

Все зависит от критериев оценки соответствия «мировому уровню». Если исходить из количества публикаций и индексов цитирования (точнее, ссылок)¹, то все области социальных и гуманитарных наук в России занимают, по моему мнению, место даже ниже, чем позиция нашей уникальной державы в рейтинге благополучных стран мира².

По данным интернет-публикаций, российские обществоведение и гуманитарные науки в «шорт-листах» мировых достиже-

¹ По состоянию на 2011 г. Россия, согласно оценке экспертов, находилась «на девятом месте по научной продуктивности и на 17-м — по цитируемости. Доля публикаций по социально-гуманитарным наукам в мировом корпусе исчисляется 11 %. При этом доля исследований нашей страны — 3,7 %, в то время как вклад США составляет 50 %» [Галактионова 2011].

² Согласно оценке экспертов организации «The Legatum Institute» в рейтинге процветания стран мира Россия по совокупности показателей восьми категорий находится на 66 месте среди 142 государств, между Белизом и Филиппинами (Рейтинг стран мира по уровню процветания — информация об исследовании <<http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info>> (дата обращения: 27.06.2013)).

ний не числятся вовсе. Уже бывший замминистра образования и науки России г-н Федюкин в 2010 г., еще будучи в должности директора по прикладным исследованиям РЭШ, «вкратце» подвел черту: «На интеллектуальной карте мира Россия сегодня отсутствует»¹. Критерий экспертной оценки «степени запустения» и «разрухи» в среде отечественных ученых-«лириков» обозначен им в следующем высказывании: «Даже просто крепких специалистов-политологов, социологов, экономистов, историков *уровня полного профессора хорошего американского университета* в России можно пересчитать по пальцам — а во многих общественных и гуманитарных науках у нас и вовсе нет таких ученых»². Анализируя причины такого незавидного положения, проф. А.В. Полетаев признал, что «проблема непредставленности российских ученых в международных журналах отчасти связана с малочисленностью наших обществоведов и гуманитариев, отчасти — с их разрозненностью. Сохраняются барьеры между Академией наук и вузами. Плохо налажен обмен информацией»³.

В обстоятельном докладе С.С. Сулакшина на семинаре «Российская гуманитарная наука: генезис и состояние» (2007) содержится ряд нелицеприятных для представителей данной научной отрасли выводов, в частности о том, что «российская гуманитаристика сползла вниз-влево, к описательности. К вкусовщине. Она зачастую бессильна даже упорядочивать знания»⁴. Безусловно, сегодня «российская гуманитарная

¹ Федюкин И. России необходимо «гуманитарное Сколково» <<http://madan.org.il/node/788>> (дата обращения: 18.06.2013).

² Там же, выделено мной. Надо отдать должное, И. Федюкин все же отметил, не без оговорок, правда, что «некоторые оазисы глобальной конкурентоспособности в общественных и гуманитарных науках в России, конечно, есть, но по большому счету речь идет лишь о двух областях». Для ясности считаю необходимым полностью процитировать дальнейший комментарий представителя либерального крыла экспертов: «Во-первых, это изучение античности. Здесь, однако, компетентность отечественных ученых основана, как правило, на сохраняющихся до сих пор школах обучения соответствующим языкам — и на готовности молодых ученых вкладывать многие годы в их изучение. Данные области знания достойны уважения и, безусловно, важны, но в целом не находятся на передовом рубеже осмысления человеческого общества и стоящих перед ним проблем.

Вторая область общественных и гуманитарных наук, где работающим в России специалистам иногда есть что сказать своим зарубежным коллегам, — это изучение собственно российских истории и общества. Но даже самые влиятельные работы этих специалистов посвящены обычно изучению России как частного случая общемировых тенденций и явлений (в основном это тоталитаризм и процесс перехода от плановой экономики к рынку), тогда как сами эти тенденции были выявлены и описаны другими. Это не книги о мире — это книги о России, написанные для мира: в лучшем случае мы более или менее успешно объясняем миру самих себя, но ни один из современных российских авторов и близко не подходит к тому, чтобы объяснить миру, что есть мир».

³ Булатова А. Количество не переходит в качество: интервью с А. Полетаевым <<http://www.courier-edu.ru/cour0812/5400.htm>> (дата обращения: 30.06.2013).

⁴ Сулакшин С.С. Гуманитарные науки как фабрики мысли: фрагмент доклада <http://www.rusrand.ru/mission/result/result_785.html> (дата обращения: 27.06.2013). Доклад опубликован полностью в сборнике: [Российская гуманитарная наука 2007: 55–99].

наука находится в унаследованном кризисе, и <...> он нарастает, а деградация прогрессирует»¹.

И все же, если оценивать массовость, глубину и значение отечественных исследований в конкретных дисциплинах гуманитарной науки², то следует признать достойными мирового уровня и археологию, и историю (повседневности в особенности), и антропологию (в совокупности с этнологией и этнографией). А из субдисциплин — юридическую антропологию и историческое краеведение (сужу исходя из знания предмета изнутри).

4

Трудно высказывать оценочную позицию, положив на чаши весов эталонные килограмм и метр (продолжая тему аналогий). Для меня наука одна (как вид интеллектуальной деятельности, наряду с религией, философией или искусством), и либо ты вносишь свой посильный вклад в «общее дело», либо наслаждаешься результатом труда других в качестве консумента. Безусловно, как и в любом социуме, в разновеликом научном сообществе есть всевозможные страты: ведущие и ведомые, пионеры и эпигоны, идеалисты и материалисты, инсайдеры и аутсайдеры, уникамы и заурядности, профессионалы и проходимцы, истинные и кажущиеся ученые. Каждая из страт играет свою роль в организации форм внешнего и внутреннего взаимодействия. Но на каком бы уровне исследователи между собой ни коммуницировали, всегда следует помнить об основополагающем принципе научного мышления — оставаться верным идеалам, которым «присягаешь», вступая в ряды «посвященных».

5

Да, «третий путь» возможен, если есть достаточный источник дохода. Для меня это путь «независимого исследователя», с благодарностью вспоминающего своих Учителей и с иронией наблюдающего за перипетиями визитов и отказов в оных, мимикрий и фобий в «академической миросистеме». Но каждый, безусловно, выбирает по себе...

Библиография

Андреева О. Человек, которого нельзя называть: Краткий курс борьбы за справедливость // Русский репортер. 2013. 26 июня. № 25 (303).

¹ Там же.

² Из декларации «За прогрессивное развитие и доступ к знанию во всех формах»: «Лучшее исследование — это то, которое добавляет знания всему обществу» (Цит. по: <<http://old.za-nauku.ru/?mode=text&id=1735>> (дата обращения: 29.06.2013)). Согласен с точкой зрения, что «гуманитарные и социальные исследования, в отличие от исследований в области естественных и технических дисциплин, имеют национальную специфику» (Булатова А. Количество не переходит в качество: интервью с А. Полетаевым <<http://www.courier-edu.ru/cour0812/5400.htm>> (дата обращения: 30.06.2013)).

- Галактионова А.* Средство от гуманитарной «глухоты» // Аккредитация в образовании. 2011, 10 окт. <http://www.akvobr.ru/sredstvo_ot_gumanitarnoi_gluhoty.html> (дата обращения: 26.06.2013).
- Гранин Д.А.* Эта странная жизнь. М.: Сов. Россия, 1974.
- Кулешов А.* Профессионалы не требуются // Эксперт. 2013, 27 мая. № 21 (852). <<http://expert.ru/expert/2013/21/professionalnyi-ne-trebuetsya/>> (дата обращения: 29.05.2013).
- Любарский Г.* Что думают умнейшие интеллектуалы // Эксперт. 2013. 27 мая. № 21 (852). <<http://expert.ru/expert/2013/21/chto-dumayut-umnejshie-intellektualy/>> (дата обращения: 29.05.2013).
- Российская гуманитарная наука: генезис и состояние. М.: Научный эксперт, 2007. Вып. 2.
- Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / Под. ред. Н. Абрамова. М.: Русские словари, 1999 [Электронный ресурс] // АКАДЕМИК: сайт словарей и энциклопедий. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/256683/пережить> (дата обращения: 30.06.2013).
- Согрин В.В.* Ученый и гражданин в меняющейся стране // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70-летию академика В.А. Тишкова / Сост. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011. С. 3–17.
- Титаев К.* Академический сговор // Отечественные записки. 2012. № 2 (47). <<http://www.strana-oz.ru/2012/2/akademicheskij-sgovor>> (дата обращения: 21.09.2012).

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА

Камчадалский ворон Кутх и другие звери

Иегова принес на урок целую рейку с названием «эксперт. сообщ. № 1–18». Пришлось глотать все препараты. Вот что я записал в перерыве между дегустациями: «Любой современный интеллеktуал, продающий на рынке свою “экспертизу”, делает две вещи: посылает знаки и протитутитует смыслы. На деле это аспекты одного волевого акта, кроме которого в деятельности современного философа, культуролога и эксперта нет ничего: посылаемые знаки сообщают о готовности протитутитовать смыслы, а протитутитование смыслов является способом посылать эти знаки».

Виктор Пелевин. *Empire V.*

Камчадалский ворон Кутх, похитивший у духов огонь для того, чтобы дать его людям, и греческий Прометей, похитивший огонь у Зевса, и еврейский Илья пророк, низведший молитвой своей огонь на жертву алтаря, и иерусалимский христианский патриарх, и ныне молитвой своей ежегодно низводящий небесный огонь на пасхальные свечи, — все это явления одного и того же порядка.

Этнограф-первобытник относится с одинаковым хладнокровием к естественному и сверхъестественному, к явлениям веры и галлюцинации, и самообмана и просто обмана. <...> Для первобытника этнографа между вознесением шамана и вознесением какого-либо другого сверхъестественного образа нет, по существу, никакого различия.

В.Г. Богораз-Тан. *Эйнштейн и религия*

Екатерина Александровна
Мельникова

Музей антропологии
и этнографии
им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург
Melek@eu.spb.ru

Современному философу, культурологу и эксперту не составит никакого труда представить, что камчадалский ворон Кутх и современный патриарх, низводящий огонь на пасхальные свечи, — это явления одного порядка. Но спустя почти сто лет после выхода книги Богораз у них появились другие проблемы.

Дрейф в сторону самоанализа начался в социальных науках несколько десятилетий назад. Среди его причин, как полагают Джордж Маркус и Майкл Фишер, был крах авторитета мегатеорий 1960-х гг., в результате которого «общественная мысль стала более подозрительной в отношении способности глобальных парадигм задавать правильные вопросы, не говоря уж о том, чтобы получать на них ответы» [Marcus, Fischer 1999: 9]. «Дисциплинарная интроспекция» [Kelly 2013: 112] не только стала частью исследовательской практики, но превратилась в одно из ее передовых направлений. В 1970–1980-е гг. сомнению, критике и ревизии были подвергнуты все фундаментальные категории социальных наук, включая понятия «общество», «история», «культура», «традиция», «нация», «цивилизация», «пространство», а также казавшиеся незыблемыми методологические основы позитивизма, нейтральности научного знания и его кумулятивности¹. Этот глобальный процесс, который можно описать и как развитие конструктивизма, и как широкое распространение культурного критицизма, и как лингвистический поворот в социальных науках, а также многими другими способами, охватил все без исключения научные области и во всех из них был так или иначе связан с пересмотром роли самих экспертов в производстве политически значимого знания и легитимации режимов власти и управления.

После выхода сборника под редакцией Талала Азада “Anthrology and Colonial Encounter” в 1973 г., а потом в 1978 г. книги Эдварда Саида “Orientalism” стало невозможно не только писать о Востоке как раньше, но и в каком-то смысле писать вообще. Потому что, несмотря на все споры о том, чем является и чем не является книга Саида [Varisco 2012; Бобровников 2008], проблемы, которые стали очевидны, касались вовсе не «Востока», а самой практики академического письма, места научного сообщества в современном мире, его политического

¹ Понятие «общество» было поставлено под сомнение уже в книге А. Турена «Производство общества» 1973 г., а в течение последующих десятилетий оно, как пишет А. Гофман, окончательно вышло из научной, по крайней мере социологической, моды [Гофман 2005: 19]. Крепость и величие «истории» пошатнулись в результате многих социально-политических процессов в послевоенной Европе и их рецепции в академии. Не последнюю роль в этом сыграли исследования памяти и политики памяти. В известной статье П. Берка 1989 г. история рассматривается как собственно социальная память [Burke 1989]. Официальной датой крушения твердынь «традиции» и «нации» и их рождения уже в новом качестве можно считать 1983 г., когда одновременно вышел сборник «Изобретение традиции» под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера и книги Б. Андерсона и Э. Геллнера о национализме. Последовавшая за крахом колониализма ревизия основ антропологии, о чем пойдет речь дальше, сделала невозможным дальнейшее спокойное употребление терминов «цивилизация» и «примитивное общество». Понятия «культуры» и «пространства», за которым она закреплена, были подвергнуты пересмотру с позиций конструктивистской критики. Впрочем, наиболее известные работы в этой области вышли уже в 1990-е гг. [Bhabha 1994; Gupta, Ferguson 1997a].

значения и еще шире — его роли в том, как люди видят этот мир. Критика экспертов и самого научного знания как инструмента создания, поддержки и легитимации колониального режима доминирования стала естественным следствием этого поворота.

«Антропологи снова и снова напоминают нам об идеях и идеалах Просвещения, которые, казалось бы, вдохновляют антропологию. Но в не меньшей степени антропология основывается на неравенстве отношений между Западом и третьим миром, которое уходит корнями в историю возникновения буржуазной Европы, тех отношений, для которых колониализм был лишь небольшим эпизодом. Это тот самый опыт, который открывает перед Западом доступ к культурной и исторической информации об обществах, над которыми он устанавливает систему доминирования, и следовательно, этот опыт не только производит некое универсальное понимание, но усиливает неравенство между европейским и не европейским мирами» [Asad 1973: 16].

Следствием этого упрека стала глобальная научная саморефлексия. Для антропологии это означало появление целого ряда работ, посвященных критике ключевых антропологических методов и понятий: «поля», «включенного наблюдения», «описания», «культуры», «сообщества» [Clifford, Marcus 1986; Comaroff, Comaroff 1992; Gupta, Ferguson 1997a]. Практика и дискурсы производства «Другого» стали предметом тщательного и придиричьего анализа, который в 1990-х гг. уже не только не считался чем-то новым, но занимал вполне определенную нишу самих антропологических исследований. Уже в 1992 г. Ахил Гупта и Джеймс Фергюсон могли начать статью с удивления по поводу того, что «в той области, где главным ритуалом перехода служит полевая работа, чья романтика держится на изучении далекого <...>, чья главная функция, как считается, заключается в соприкосновении с принципиально другими способами жизни (находящимися “где-то там”», при том что собственная культура антропологов — это, как правило, западная культура, — в этой области так неожиданно мало внимания было уделено осмыслению (*self-consciousness*) понятия “пространство” в антропологической теории» [Gupta, Ferguson 1992: 6].

Сегодня критика академии стала общим местом, в том числе и в России¹. Проблема, однако, в том, что превращение науки

¹ По многим причинам, о которых здесь нет возможности рассуждать, ведущее место в этой области занимает социология. Список работ, в той или иной степени трактующих специфику порождения научного знания, огромен, даже если исключить из него работы по социологии науки и технологий, касающиеся только естественных наук. Этим вопросам посвящен целый ряд публикаций авторов

в «поле»¹, как выясняется, никак не решает тех проблем, из-за которых само «поле» стало предметом критики. Просто «Восток» теперь находится в другом месте. Антропологи и социологи конструируют свой объект, пользуясь все теми же дискурсивными стратегиями, что и раньше, только этим объектом теперь оказывается научный мир.

В 1973 г. Клиффорд Гирц написал знаменитую фразу: «Антропологи исследуют не деревни (племена, города, поселения...) — они исследуют *в* деревнях». Спустя двадцать четыре года Гупта и Фергюсон задались вопросом: «А почему, собственно, в деревнях?» [Gupta, Ferguson 1997b: 15]. Сегодня мы не исследуем деревни, мы не исследуем в деревнях, но то, что мы исследуем, мы исследуем так же, как делали это с деревнями и в деревнях. Мы находим своего ворона Кутха, своих аборигенов и своего цивилизованного белого человека.

Современная, по крайней мере российская, критика науки стала одним из инструментов конструирования экспертного статуса исследователя, по сути заменив в этом качестве историю науки². Кроме того, в ситуации изменения самой системы оценки научного «продукта» и, соответственно, перестройки научной иерархии критика академического сообщества, его практик и дискурсов стала способом производства границ внутри самого научного сообщества. В Программе «Наука 2.0», посвященной причинам превращения слова «эксперт» в ругательство, Виктор Вахштайн проводит различие между «экспертами» и «исследователями» [Вахштайн 2012]. Еще более распространенная сегодня риторика связана с различием «правильной» и «неправильной» наук. В этом смысле, М. Соколов и К. Титаев немного лукавят, предполагая, что большинству читателей «туземная наука» «знакома лишь по случайным встречам или незнакома вовсе». Если сама «туземная наука» и знакома им лишь отчасти, то уж уверенность в том, что она существует, все они наверняка разделяют.

обсуждаемой здесь статьи (из самых последних: [Соколов 2012а; 2012б; 2011; 2010а; 2010б; 2009а; 2009б; Титаев 2012]) и многие другие исследования ([Щеглова 2005; Юдин 2010; Гапова 2011] и др.). В антропологии тоже появились исследования, посвященные истории этнографической практики и ее современным формам [Комарова 2008; Соколовский 2008; 2009; 2011; Арзютов 2012]. К этому кругу примыкают и публикации, посвященные социальному и политическому контексту музейной этнографии [Шангина 1997; Байбурун 2004; Баранов 2012].

¹ Забавно, что понятие «поле» в концепции Бурдьё (а статья «Поле науки» вышла в 1975 г.), кажется, никак не связанное с антропологическим и социологическим «полем», остается его омонимом и во французском языке тоже.

² Еще двадцать лет назад знаком высокого места исследователя в научной иерархии было чтение историографических курсов, подготовка историографических обзоров или монографий. Сегодня таким признаком становятся работы, посвященные критике академии.

Эссенциализация «Другого» с помощью описания его отличий в терминах колониального превосходства, ставшая главным предметом критики антропологического метода с конца 1970-х гг., в полной мере реализуется сегодня в отношении самого научного сообщества.

Как показывает статья М. Соколова и К. Титаева, серьезных изменений не претерпела даже основная терминология. «Туземная» и «провинциальная» науки, «метрополия», «карго-культы», паломничества, поклонение, «академические племена» и, конечно, сами «туземцы» и «провинциалы»¹ — все эти понятия, вместе взятые, недвусмысленно напоминают о временах развитого колониализма, нуждавшегося в стройных иерархиях обществ по принципу прогрессивности и цивилизованности.

Научные сообщества / миры / пространства так же легко помещаются на шкалу цивилизованности — отсталости, как когда-то помещались на эволюционную лестницу племени туземных аборигенов. Как и в славные времена эволюционизма, сама «цивилизация» остается за рамками анализа. «Столичная» наука лишь маячит огнями своего Олимпа, но в отличие от «провинциальной» и «туземной» не рассматривается. Процессы, охватывающие все другие научные миры, не касаются метрополии. Подобия туземной и провинциальной наук, как пишут Соколов и Титаев, «сами собой возникают во всех национальных академических мирах, кроме того, который в данную историческую эпоху обладает интеллектуальной гегемонией и становится столицей, к которой провинциалы хотели бы ощутить свою причастность и о которой туземцы хотели бы забыть»². Метрополия, как и сто лет назад, остается мерилем развития других миров.

Самый низший уровень на цивилизационной шкале снова занимает «туземное», на этот раз «туземная» наука. Именно «столичная» и «туземная» науки выступают в качестве полюсов, определяющих вертикаль научного мира в картине, нарисованной авторами статьи. Самолеты, которых ожидают на своих карго-аэропортах туземцы, — воображаемые. Самолеты метрополии — настоящие. Метрополия выступает хранителем «правил разговора», туземцы пренебрегают ими, «ставя под сомнение жизни многих других людей».

¹ На самом деле нужно отдать должное авторам статьи, решившимся сегодня использовать колониальную терминологию. Мало кто может себе позволить сейчас говорить о «туземном» и «провинциальном», не сопровождая свои слова пространными комментариями в духе *subaltern studies*.

² С этим утверждением трудно согласиться. Академический мир метрополии, в данном случае США, не лишен своей периферии и центра и своих проявлений так называемого “*imposter syndrome*” — синдрома самозванца, связанного с ощущением вторичности по сравнению с кем-то, кто принадлежит «настоящей науке».

Сходство с антропологической риторикой времен колониального господства поражает. Мы находим упоминания о близости туземцев к природе (а значит, удаленности от цивилизации) («Что происходит там в это время, является предметом величайшего натуралистического интереса»), примитивности их деятельности («Однако научная деятельность стремительно теряла свою содержательную часть. Она превращалась в простую форму, которая позволяла легитимировать существование кафедр и лабораторий в глазах всех заинтересованных структур»), технической отсталости («внутриорганизационная коммуникация в провинциальной части дисциплины осуществляется исключительно с помощью электронной почты, в то время как туземная часть освоила ее лишь существенно позднее и до сих пор пользуется лишь относительно неуверенно. <...> Многие крупнейшие туземные организации до сих пор не имеют собственной электронной рассылки или страницы в Фейсбуке. Напротив, телефон или факс широко используются в туземной части»), экзотичности поведения, граничащей с иррациональностью (история о студенте пятого курса, имевшем на тот момент более 200 публикаций)¹. Полярность столичной и туземной наук создается и с помощью закавычивания. Выражение «они именно так восприняли “правильную организацию науки”» предполагает, что существует правильная наука и без кавычек.

Между полюсами «столичной» и «туземной» наук находится «провинциальная», именно к ней себя скромно причисляют авторы². Понятие «провинции» вполне может рассматриваться как вариант колониального дискурса. Внутренние колонии описываются как более близкие к метрополии, чем иноземные, но все-таки тоже колонии. Провинциальные ученые тоже строят карго-аэропорты, ездят «с паломничествами» на Запад и хранят память о «великих отцах-основателях». Впрочем, промежуточное состояние провинциальной науки находится под угрозой превращения в «туземную» науку, из чего еще раз со всей очевидностью следует, что «туземная» наука сама по себе является угрозой.

Пространство науки, описанное Соколовым и Титаевым, — «провинциало»-центрично в той же степени, в какой европоцентричной была картина туземного мира, описанная когда-то эволюционистами. Предложенные категории актуальны толь-

¹ Примеры аналогичной риторики в описаниях аборигенов можно найти в: [Dudley, Novak 1972; Слезкин 2008].

² Впрочем, мы все-таки узнаем о том, что работа авторов является «отдаленным отпрыском» Чикагской школы американской социологии, а также то, «что авторы стоят на дюркгеймианской позиции по отношению к социальному порядку».

ко для представителей «провинциальной» науки¹. Выделение «провинциальной», «столичной» и «туземной» наук — это экспликация «провинциальной» картины научного мира, но никак не ее объяснение.

Вопрос об иерархичном устройстве научных пространств не специфичен для России и мира за пределами воображаемой метрополии, но вполне универсален. Причины этому явлению намечены Соколовым и Титаевым в разделе «Истоки уязвимости дискуссий». В то же время карта академии, которая возникает как реакция на то, что авторы называют демографическими, тематическими и инфраструктурными проблемами, не является универсальной. В статье предлагается только один из вариантов такой карты. Более того, статья сама по себе является инструментом картографирования.

Именно поэтому заключительные вопросы статьи о том, «какая из двух наук — провинциальная или туземная — лучше в каком-либо высшем смысле и можно ли найти третий путь, не скатываясь ни к одному из описанных нами полюсов, но при этом и не мигрируя в страны, благословленные присутствием столичной дискуссии» и «должна ли туземная или провинциальная наука с необходимостью быть плохой», кажутся мне, по меньшей мере, странными.

Что представляет собой высший смысл, о котором идет речь? Я понимаю, что перехожу в область демагогии. Потому что есть гамбургский счет, по которому основная часть публикаций в E-Library ничего не стоит. Но, к сожалению, вся эта дискуссия напоминает разговоры в духе «я не расист, но меня раздражают таджики в моем дворе, потому что они грязные и плохо говорят по-русски».

Провинциальная, туземная и столичная науки существуют постольку, поскольку кто-то считает их существующими, но эта категоризация является не вопросом хороших и плохих наук, а проблемой интерпретаций существующего академического порядка. Его анализ безусловно интересен и нужен, но абсолютно невозможен, если коренится в риторике времен утверждения колониального господства.

Библиография

Арзютов Д.В. Полевые программы Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза: от концепции поля к категоризации этничности // Лев Штернберг — гражданин, ученый, педагог. К 150-летию со дня рождения. СПб.: МАЭ РАН, 2012. С. 240–247.

¹ Надеюсь, в этом тексте я справилась с демонстрацией своей принадлежности к этому милому сердцу лагерю.

- Байбурин А.К.* Этнографический музей: семиотика и идеология // Не-прикосновенный запас. 2004. № 1 (33). С. 81–86.
- Баранов Д.* «Приручение» традиции: включение понятия традиции в нарратив о советском народе (по материалам ГМЭ народов СССР) // Антропологический форум. 2012. № 16. С. 351–366.
- Бобровников В.* Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // Ab Imperio. 2008. № 2. С. 325–344.
- Вахитайн В.* Слово «эксперт» превращается в ругательство. Расшифровка программы «Наука 2.0» от 13.10.2012. <http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/16941>. Проверено 27.06.2013.
- Гапова Е.* Национальное знание и международное признание: пост-советская академия в борьбе за символические рынки // Ab Imperio. 2011. № 4. С. 289–323.
- Гофман А.* Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социс. 2005. № 5. С. 18–25.
- Комарова Г.А.* (ред.). Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. М: ИЭА РАН, 2008.
- Слезкин Ю.* Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М.: НЛО, 2008.
- Соколов М.* Академический туризм: Об одной форме вторичного приспособления к институтам интернациональной науки // Не-прикосновенный запас. 2009а. № 67 (5). С. 223–236.
- Соколов М.* Российская социология после 1991 года: Интеллектуальная и институциональная динамика «бедной науки» // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2009б. № 1. С. 20–57.
- Соколов М.* Индивидуальные траектории и происхождение «естественных зон» в петербургской социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010а. № 3. С. 111–132.
- Соколов М.* Там и здесь: Могут ли институциональные факторы объяснить состояние теоретической социологии в России? // Социологический журнал. 2010б. № 1. С. 126–133.
- Соколов М.* Рынки труда, стратификация и карьеры в советской социологии: История советской социологической профессии // Экономическая социология. 2011. № 12 (4). С. 37–72.
- Соколов М.* Место исследований локальных академических сообществ в социологии науки // Социологические исследования. 2012а. № 6. С. 76–82.
- Соколов М.* О процессе академической (де)цивилизации // Социологические исследования. 2012б. № 8. С. 21–30.
- Соколовский С.* Бремя традиции: прошлое в настоящем российской антропологии // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 205–220.
- Соколовский С.* Ничто не нарушит покоя, или о ситуации в российской антропологии (Ответы на вопросы форума «Престиж

- в науке (обсуждение статьи М. Соколова)» // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 91–98.
- Соколовский С.В.* Российская антропология: иллюзия благополучия // Неприкосновенный запас. 2009. № 1 (63). С. 45–64.
- Титаев К.* Академический сговор // Отечественные записки. 2012. № 2 (47). С. 184–194.
- Шангина И.И.* Русский фонд этнографических музеев Москвы и Санкт-Петербурга (История и проблемы комплектования. 1867–1930): Автореф. дис. ... д.и.н. М., 1997.
- Щеглова С.Н.* Участие и формы взаимодействия социологов в научном сетевом сообществе // Социологические исследования. 2005. № 5. С. 106–113.
- Юдин Г.* Иллюзия научного сообщества // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 59–84.
- Asad T.* Introduction // T. Asad (ed.). *Anthropology and Colonial Encounter*. N.Y.: Humanity Books, 1973. P. 9–19.
- Bhabha H.K.* *The Location of Culture*. L.; N.Y.: Routledge, 1994.
- Burke P.* History as Social Memory // T. Butler (ed.). *Memory: History, Culture and the Mind*. Oxford: Blackwell, 1989.
- Clifford J., Marcus G.E.* *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Comaroff J.L., Comaroff J.* *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder: Westview Press, 1992.
- Dudley E., Novak M.E.* (eds.). *The Wild Man Within: An Image in Western Thought from the Renaissance to Romanticism*. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1972.
- Gupta A., Ferguson J.* (eds.). *Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science*. Berkeley: University of California Press, 1997a.
- Gupta A., Ferguson J.* Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference // *Cultural Anthropology*. 1992. Vol. 7. No 1. P. 6–23.
- Gupta A., Ferguson J.* Discipline and Practice: “The Field” as Site, Method, and Location in Anthropology // A. Gupta, J. Ferguson (eds.). *Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science*. Berkeley: University of California Press, 1997b. P. 1–46.
- Kelly C.* What Was Soviet Studies and What Came Next? // *The Journal of Modern History*. 2013. Vol. 85. No 1. P. 109–149.
- Marcus G.E., Fischer M.M.J.* *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- Varisco D.M.* *Reading Orientalism: Said and the Unsaid*. Seattle: University of Washington Press, 2012.

МАРИНА МОГИЛЬНЕР

От «трехчленки» к «третьему пути»:
апология the middle ground

Предубеждения, неполная информация и творческое неверное понимание, быть может, являются наиболее распространенными основаниями человеческого поведения

Ричард Уайт

Кризис научной среды и самой категории научности как общепринятого в академическом сообществе стандарта сначала казался лишь составной (и естественной) частью глобального структурного кризиса начала 1990-х. Но прошло уже двадцать лет — фактически, время целого биологического поколения, — а ситуация остается столь же неопределенной, как и тогда. Именно проблема эпистемологического раскола и структурного распада российской науки и научности в России заставила меня принять участие в этом форуме, несмотря на некоторые сомнения по поводу концептуальных рамок, предложенных в статье М. Соколова и К. Титаева. Не желая выступить в деструктивной роли, навязывая некую альтернативную модель, укажу лишь на проблемные стороны идеи научного процесса как «разговора» — чтобы обозначить пространство и сюжеты, оставшиеся «за кадром» предложенного взгляда.

Риторически модель «беседы» представлена в статье как исчерпывающий обмен информацией: подразумевается, что «все в беседе, ничего помимо беседы», т.е. весь объем информации передается в неизменном виде между собеседниками. Уже от структурной социальной ниши, занимаемой ими, а также от личного выбора зависит отношение к передаваемому сообщению. Воспринимая эту модель как метафору, можно предположить, что передача сообщения ведется одновременно по несколь-

Марина Борисовна Могильнер
Журнал "Ab Imperio" /
Университет Иллинойса,
Чикаго, США
marina@abimperio.net

ким каналам — как и в реальной беседе: через речь, жест, взгляд... Если перевести эту метафору в категории академического процесса, получается, что модель «разговора» должна включать тогда не только содержание научных текстов, но и всю совокупность социальных практик, от процесса защиты диссертации до взаимоотношений с семьей научного руководителя.

С точки зрения институционального анализа это, возможно, излишние детали, но с точки зрения теории информации это существенные обстоятельства, позволяющие иначе проанализировать сложившуюся ситуацию и предложить иные выходы из нее. Ибо жесткая структура, предложенная Соколовым и Титаевым, не подразумевает реальной динамики: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Структурные предпосылки обрекают «Второй мир» провинциальной науки оставаться в парадигме догоняющего развития. Можно освоить нормы и академический хабитус столичной науки, но так как она является единственным субъектом научной динамики, к тому времени это будут уже нормы и хабитус вчерашнего дня, и «догнавшие» вновь оказываются провинцией, местом смещенного «назад и в сторону» хронотопа. Не подвергая в принципе сомнению плодотворность предложенной «трехчленки», я возражаю против объяснения принципов ее выделения и логики поддержания.

Воспринимая метафору «разговора» серьезно, я хочу подчеркнуть: при всей важности структурных предпосылок (финансовых возможностей, институциональной отлаженности, эффективности сетевого взаимодействия и т.п.), главным содержанием научного процесса все же является обмен знаниями. В этой связи стоит вспомнить, что азами теории информации является понимание неадекватности передачи сигнала (проблема шумов при передаче, неверного считывания получателем и даже ошибочность кодирования при отправке), а важнейшим элементом лотмановской концепции семиосферы выступает идея колоссального потенциала периферии как смыслопорождающего локуса и потенциального нового центра системы. Можно считать, что теория информации или Лотман — архаические увлечения 1980-х, но эмпирически неопровержимым является случай постколониальной теории или, в наиболее чистом виде, проект субалтерных исследований. За какие-нибудь десять лет (с середины 1980-х) глубоко периферийная «интеллектуальная провинция» — Индия — оказалась законодателем интеллектуальной моды в широком диапазоне социальных наук (если эта мода не дошла вполне до России, проблема не Индии).

Каковы были структурные предпосылки этого переворота? Бенгальский средний класс обладал достаточными ресурсами для обеспечения своего молодого поколения хорошим образованием (как в Индии, так и в западных докторантурах). Правда, не такими ресурсами, как, скажем, в странах Персидского залива (в интеллектуальном отношении интересующих в основном спецслужбы), и не все звезды постколониальной теории вышли из этого класса. Частные английские школы в Индии давали хорошее образование, и несколько университетов достаточно заметны в мировой системе вузов, но они не сравнимы ни с британской, ни с американской системами образования. Как объяснить «индийский феномен» с точки зрения модели Соколова и Титаева? Я не знаю. Наиболее простым мне кажется объяснение в иной логике (которую можно облечь в предложенную терминологию): часть индийских обществоведов — на правах «провинциальной науки» — интегрировались в мировую научную систему. Это значит, что они освоили гегемонный язык и идентифицировали основные популярные темы и проблемы. Условно говоря, этот первый этап представлен поколением индийских марксистов 1960-х — начала 1970-х гг., совершенно вторичных даже в контексте британских Peasant Studies (где они были наиболее заметны в международном масштабе).

А дальше произошло вот что (именно потому, что «разговор» — не просто перформативный акт, а ситуация взаимодействия по поводу осмысленной передачи информации): применив нормативные «мировые» модели к знакомому полю, индусы смогли революционизировать их и из объектов передового научного процесса стать его субъектами. Так в экономике поступили японцы в 1960-х, а корейцы в 1990-х. Они смогли сказать новое слово — и, да, найти способ убедить других в том, что они его сказали и что оно ценно. Этот момент актуализирует институциональный анализ Соколова и Титаева: нужно иметь доступ к материальным ресурсам и обладать символическим капиталом, нужно уметь играть по правилам «большой науки» и проводить грамотный академический маркетинг. Вот только в основе успеха — именно сказанное новое слово, а не политехнологическая ловкость, во всеисилие которой в России верят сейчас все, от оппозиционера до президента.

При этом в индийской академии остались обширные пространства самой что ни на есть туземной науки, как есть они и в США, и в Германии. Но эти пространства определяются не географическими координатами, не языком публикаций, не размерами оклада. Большая («столичная») наука не просто разговор, а сообщение, message, который циркулирует везде, только доходит не до всех, в прямом и переносном смысле.

Конечно, академическая инфраструктура играет огромную роль: доступ к библиотекам, хорошим преподавателям, международным конференциям. С точки зрения доступа к ресурсам, лучше учиться в Колумбийском университете, чем в Казанском (лучше быть богатым, но здоровым). К счастью, распределение умных и дураков, трудолюбивых и лодырей косвенно связано с географией. Пример «индусов» показывает, что для успеха необходимы три главных условия: наличие реально революционного интеллектуального потенциала (который в их случае удачно совпал с международной политической конъюнктурой и наличием интеллектуального запроса на ее осмысление), работоспособность и многоязычие. Нужно уметь говорить на чужом языке, чтобы принять участие в разговоре, осмысленно обогатить его и объяснить свою роль в этом обогащении. Конечно же, я говорю, в первую очередь, о концептуальном языке, хотя владение научным лингва франка необходимо — как оно было необходимо все последние 2,5 тысячи лет (будь то греческий или английский). Я еще вернусь к этой теме ниже.

Мой собственный опыт в науке глубоко «провинциальный» — хотя и не в смысле, предполагаемом авторами статьи. Я закончила провинциальный российский — Казанский — университет, там же защитила кандидатскую. МА из Центрально-Европейского университета в Будапеште и Университета штата Нью-Йорк — вполне «провинциальная» степень. Ph.D. я получила в Ратгерсе — на полпути между Манхэттеном и Принстоном, двумя «столичными» академическими центрами. Тринадцать лет я проработала просто на периферии любой институционализированной академии — в созданном при моем участии независимом журнале “Ab Imperio”. Возникший в 2000 г. с нуля, на грант в 995 долларов, без какой-либо институциональной поддержки и даже символического капитала за душой его пяти соредакторов, “Ab Imperio” вошел в число лидеров мировой русистики (судя по формальным критериям, действующим в интегрированном научном поле, т.е. за пределами РФ). Недавно я приняла предложение занять именную профессиу по русской интеллектуальной истории в университете Иллинойса в Чикаго — хорошем исследовательском университете, но не айви лиг (в отличие от соседних «столичных» Чикагского и Северо-Западного университетов). Подобно «индийской» истории, перечисленные эпизоды моей собственной провинциальной научной биографии служат для меня эмпирическим материалом для верификации предложенной нам социологической модели.

Можно ли утверждать, что мне, как части коллектива “AI”, просто удалось найти 50 «нужных» собеседников и «погово-

речь» с ними по душам? В каком-то смысле, вероятно, да, хотя одних авторов у “Ab Imperio” уже около тысячи, да и мне повезло продуктивно профессионально общаться не с одной сотней коллег из самых разных дисциплин, от русистов, европейцев и американцев до исследователей колониальной и постколониальной Индии. Анализируя этот опыт общения на чужом языке (английском, но также социологическом, политологическом, антропологическом и пр.), я должна признать: так или иначе им всем стало интересно то, что мы (как редакция “AI” и как индивидуальные исследователи) делаем. За это нам прощают опечатки и полиграфию, акцент и несовершенное овладение нормативным академическим «хабитусом». Этому не мешает ни наша провинциальность, ни даже принципиальная маргинальность (с точки зрения российского или американского академического истеблишмента). Мы просто можем разговаривать на разных языках (с французскими социологами, австрийскими антропологами, немецкими историками, итальянскими литературоведами, американскими политологами) и в процессе общения демонстрировать собеседникам универсальную релевантность нашего сугубо локального знания, всецело продукта российского поля. Теоретически этому проще научиться в Европейском или Вышке, но мои коллеги по “AI” учились в Казани, Иваново, Владивостоке — как выясняется, у периферии есть свои преимущества...

Из этого небольшого экскурса в «эго-историю» очевидно, что провинциальный и столичный элементы «трехчленки» Соколова и Титаева вызывают у меня вопросы, поскольку не объясняют, а лишь формально и поверхностно фиксируют в далеко не безупречных категориях как мой личный опыт и опыт многих моих коллег, так и природу научного коммуникативного процесса.

Концепция туземной науки кажется мне наименее проблемной: самоизоляция от «больших дискуссий», компенсаторное изобретение локальных традиций, злоупотребление риторическими конструктами типа «эта проблема еще не изучалась в отечественной историографии», повышенный градус патриотизма и прочие характеристики туземной науки, описанные авторами статьи, хорошо знакомы всем, кто так или иначе социализировался в постсоветской научной среде. Все, кто включен в современную российскую систему высшего образования, как бы критично и иронично они ни относились к туземной науке, вынуждены с ней взаимодействовать и даже мимикрировать (хотя бы стилистически) под туземного ученого. Поэтому четкость границ между сферами туземной и провинциальной науки можно постулировать лишь теоретически — на деле же

они неизбежно взаимопроницаемы. Представители провинциальной науки, которые, по определению Соколова и Титаева, «мысленно присутствуют в одном разговоре, но физически участвуют другом», на самом деле участвуют еще и в третьем, т.е. внутри туземной науки, коль скоро именно она воспроизводится на уровне структурной организации российской науки и высшей школы.

Я бы сказала, что граница тут проходит на уровне не столько даже сознательной самоизоляции туземцев и однозначной и постоянной ориентации провинциалов на столичную науку, сколько на уровне стилистики письма. Истинно туземное письмо принципиально непереводаемо, и потому оно не может включаться в процесс научной коммуникации, даже когда его участники, в духе *affirmative action* или по другим соображениям, максимально вовлечены в широкий диалог. Высказывание представителя туземной науки часто сложно оценить содержательно: это либо сугубо перформативное действие, либо высказывание на диалекте, значение которого понятно только небольшой группе аборигенов или инициированных. И конвенционного словаря перевода просто нет, тем более что коммуникация понимается туземцами как актуализация неких первичных значений (предсуществующего знания) и, значит, сводится к ритуалу. В этом смысле их высказывания можно исследовать подобно тому, как антрополог изучает локальные культуры, реконструируя актуальную сетку значений и выясняя функциональность того или иного социального жеста или высказывания. Но в содержательном плане этот дискурс не имеет шансов на перевод и включение в более широкий процесс научной коммуникации.

В этом смысле постсоветская туземная наука существенно отличается от советского обществоведения, которое было не менее изолировано от внешних воздействий и провозглашало самодостаточность. Тем не менее оно выражало себя на языке марксистской методологии и потому было переводимым и понятным даже тем, кто работал в принципиально ином методологическом и идеологическом модусе. Классовая модель общества, стадийная схема развития исторического процесса, основополагающая роль «базиса», детерминирующего «надстройку», были частью некой универсальной и в общем узнаваемой эпистемологической системы.

Сравнение с советской историографией позволяет критически оценить и аргумент, согласно которому именно постсоветская колониальная гегемония англоязычной науки делает непереводаемыми работы туземцев, не владеющих английским. Очевидно, число советских историков, которые не писали,

не говорили и плохо читали на английском, вполне сопоставимо с числом нынешних туземцев, не говоря уже о недоступности англоязычных работ в СССР. Тем не менее они действовали в рамках принципиально переводимой эпистемы.

Между тем туземец в «трехчленке» — это стигма, от которой невозможно избавиться в силу структурных обстоятельств. Как следует из статьи, для поколения выпускников постсоветских вузов, защитившихся в последнее десятилетие, туземная наука уже даже не является одной из альтернатив, которую выбирают более-менее осознанно, — они просто не знают другой научной нормы. Так выглядит ситуация на уровне социологического обобщения. А с точки зрения одного из редакторов «АГ», который прочитывает больше сотни рукописей в год, в том числе и от туземцев, и вступает в переписку с ними, объясняя, почему статья не пройдет рецензирование в нашем журнале, стараясь вместе с автором понять, как сделать так, чтобы его тема стала интересна не только ему и его научному руководителю, но прозвучала как часть большой (столичной) дискуссии, становится очевидной хрупкость туземного панциря. Молодые исследователи довольно быстро, что называется, меняют ориентацию на «большие разговоры», если видят перспективность такой смены. Они не дураки и не зомби, но в значительной степени жертвы той структурной ситуации, которую описали Соколов и Титаев. Однако появление нового контекста для их научного творчества и включение их в другой — пусть и провинциальный — разговор делают этих туземцев восприимчивыми к тому, что выше я описала как message большой научной коммуникации. Так что в целом и с туземцами ситуация динамичнее, чем она представлена в структурной модели «трехчленки».

Проблема, видимо, в том, что ее авторы переносят деконструируемый ими же принцип колониального доминирования столицы над провинцией на свою аналитическую модель. Но как ни соблазнительно использовать колониальную модель и тезис о гегемонии английского для описания отношений внутри «трехчленки», я бы делала это с осторожностью и с оговорками. Поскольку качественная современная историография в принципе не может быть туземной и коммуникация — как столичная, так и провинциальная — нуждается в общем языке не только в символическом, но и в буквальном смысле, английский функционирует в качестве такого универсального коммуникативного медиума. Переведенные на английский Фуко или Бахтин влияют на историков и литературоведов в самых разных странах — английский язык сделал теории французского и русского философов общим достоянием. Если, в логике постколониальной политики позитивного действия

(affirmative action), международные дискуссии русистов перейдут на русский, российская история обречена на статус диаспорной дисциплины, изолированной от других больших историографических дискуссий. Поэтому мне лично гораздо более решительным и перспективным эмансипаторским (постколониальным) шагом казалось бы двуязычие в преподавании российской истории в России и двуязычие во внутрироссийской научной дискуссии. Это не только бы уравнило статус двух языков в рамках нашей дисциплины, но и позволило формировать профессиональных русистов без постколониального комплекса субалтернов, которые «не могут говорить» (“Can the subaltern speak?”). Другое дело, что для этого требуется радикальная перестройка всей отечественной системы высшего образования, а в пределе — пересмотр самопозиционирования России на мировом политическом, научном, экономическом, культурном рынке, на рынке труда и пр.

Предложенное Соколовым и Титаевым описание столичной и провинциальной науки не просто вскрывает, но и объективирует довольно простую и однозначную колониальную иерархию, в которой переходные и динамичные состояния не видны и нерелевантны (провинциальность же представлена ими не как переходность и не как динамичная периферия, способная генерировать из себя новые центры, но скорее как структурно детерминированная резервация колонизированных интеллектуалов). Авторы «трехчленки» теоретически оговаривают наличие нескольких столиц и нескольких провинциальных сообществ. Но далее, по ходу статьи, создается ощущение, что провинциальное социологическое сообщество в России едино и даже при возможной ориентации на разные центры его члены взаимодействуют с ними и туземцами по одним и тем же правилам. Тут же авторами задается и другая дихотомия: социальные науки в России обречены быть провинцией, а столица всегда находится на Западе. На достаточно высоком уровне абстракции с этим можно согласиться, но, скажем, глядя из перспективы такой дисциплины, как история России, начинаешь видеть так много нюансов, что первоначальная схема просто теряет свой объясняющий потенциал.

Действительно, как ни парадоксально это звучит, вся российская историческая наука о России — это большая провинция западной русистики, причем взгляд с Запада далеко не всегда проводит различие между «социально близкими» провинциалами и «классово чуждыми» туземцами. Это тем более ненормально, что у нас находятся архивы, что мы — носители русского языка и прочих языков, на которых созданы отложившиеся в этих архивах исторические источники, и что историков-русистов на душу населения у нас больше, чем в любой

другой стране. В наших школах история России — обязательный предмет, а наши политики с недавнего времени чрезвычайно озабочены превращением этого курса в инструмент воспитания патриотизма населения. Тем не менее основные научные моды в русистике задаются не здесь, основные парадигмальные сдвиги происходят не у нас, новаторские научные дискуссии ведутся не в российских исторических журналах и, как правило, не на русском языке.

Между тем, когда мы однозначно локализуем провинцию в России, а столицу — на Западе (или в случае с российской историей — конкретно в США), мы обрекаем себя на сравнение несопоставимых феноменов. В частности, мы сравниваем большое интегрированное коммуникативное пространство с пространством афазии, где горизонтальная коммуникация и информационный обмен отсутствуют. Интересно, кто окажется проигравшим при подобном сравнении? Так, говоря «американская русистика», мы имеем в виду по крайней мере два научных журнала. Их читают *все* ее представители (независимо от того, как мы классифицируем конкретных русистов, — как столичных, провинциальных или туземных): “Slavic Review” и “Kritika”. Мы подразумеваем сеть университетских издательств с системой внешнего рецензирования, где выходят книги, без которых сегодня не получить постоянную позицию в университете; мы также подразумеваем наличие ASEES — Ассоциации славянских, восточно-европейских и евразийских исследований — с ее ежегодной конвенцией, которая служит смотром состояния дисциплины в конкретный момент, со структурами самоуправления, информационным обменом, премиями и пр.

Иными словами, перед нами сложно устроенная и внутренне динамичная корпорация. В ней, конечно, есть собственные провинциалы и столичные звезды. Но есть институты, которые не только не позволяют воспроизводиться туземной науке на массовом уровне (рынок настолько конкурентен, что туземцу на нем не закрепиться), но и размывают границы между провинцией и столицей в процессе постоянного перекрестного взаимного рецензирования (peer-review) и необходимости вписывать русистику в более столичные дискуссии европейцев или постколониальщиков. Иначе как оправдать существование такой дисциплины после падения железного занавеса?

Американская модель, конечно, далека от идеала и не нормативна в том смысле, что отличается от французской или немецкой русистики. Но именно она демонстрирует условность деления на столицу — провинцию — туземные заповедники, если система самоорганизации и информационного обмена нала-

жена так, что большинство историков пребывают не в маленьком ядре того кластера, к которому принадлежат, а на их обширных пересекающихся, перекрывающихся перифериях, где иерархическая ситуация мысленного участия в столичном разговоре при физическом участии в провинциальном не является доминирующей и где возможно формирование новых центров коммуникации. Да и центры, вокруг которых эти периферии выстраиваются, сами могут являться периферией относительно более столичных, более междисциплинарных, менее географически замкнутых дискуссий.

Что касается русистики в России, то здесь сложно однозначно определиться, о чем и о ком мы говорим. Есть ли исторические журналы, которые просто не могут игнорировать все члены профессии? Я бы сказала, что таких изданий сегодня нет. Есть ли самоорганизующаяся корпорация со своими институтами? Нет. Есть ли процесс взаимного рецензирования? Тоже нет. Есть ли система университетских издательств, гарантирующих профессиональную экспертизу? Нет. Есть отдельные группы, кружки и кружочки, которые мало что знают друг о друге; есть туземцы, обслуживающие национальные политические проекты, и есть туземцы, социологически более соответствующие типу, предложенному Соколовым и Титаевым; есть историки Высшей школы экономики, которые стимулированы печататься в международных рецензируемых изданиях и ориентированы на Запад еще и в силу этого структурного давления (а насколько это «их» разговор — вопрос открытый). Есть старые и новые ВАКовские стандарты, где именно такие публикации в западных изданиях или широко цитируемые книги вообще не учитываются. И при этом нет единого, пусть даже внутренне поляризованного, профессионального коммуникативного пространства, нет общих корпоративных институтов и вызывающих профессиональное доверие процедур, а потому сравнение российской провинции и западной столицы если и возможно, то не всегда осмысленно.

За рамки такого структурного сравнения неизбежно попадут историки, которые, казалось бы, формально абсолютно соответствуют предложенному в заглавной статье к форуму описанию российского провинциала, но, по сути, ими не являются, а прочно входят в столичное вненациональное сообщество в своей области. Я бы привела в качестве примера историка Михаила Долбилова, который с недавних пор перестал быть российским историком и получил профессию в США (почему такие историки не находят себе адекватного места в российской системе университетской или академической науки — отдельный вопрос). Без ссылок на его работы по конфессиональной политике российского имперского государства в Западном

крае невозможна ни одна серьезная публикация на эту тему ни на одном языке. И это не просто ссылки на архивные документы, которые Михаил ввел в научный оборот (хотя и здесь его заслуги неоспоримы), но на концептуальные подходы, предложенные в его работах. То, что, будучи маргинальной частью неструктурированного и адаптированного под воспроизводство туземной науки (или даже провинциальной — он служил в Европейском университете в СПб) российского научного пространства, этот историк оказывался в институциональном проигрыше, компенсировалось его реально значительным интеллектуальным присутствием и влиянием на «столичные» дискуссии. Если в терминах социологии «трехчленки» переезд Михаила Долбилова из Петербурга под Вашингтон выглядит как переход из провинциалов в столичные, то по сути это скорее институционализация внутри того столичного сообщества, к которому он принадлежал, еще живя и работая в России.

Еще сложнее поместить в пространство между провинцией и столицей, Россией и условным Западом такой журнал, как “Ab Imperio”. Он выходит в России и ассоциирован с ASEES, но категорически не принадлежит какому-то одному географическому пространству и не представляет одну научную традицию. Журнал двуязычен, в нем широко используется формат обсуждений и круглых столов, где подрываются заведомо существующие иерархии столиц и периферий. И, самое главное, “AI” создает и форматирует дисциплинарное поле новой имперской истории как «столичную дискуссию», которая не вполне описывается в социологических категориях, предложенных авторами настоящего форума. Речь идет не о рекламе проекта “AI”, а об иллюстрации важного для меня тезиса об отсутствии прямой структурной предопределенности принадлежности к столичности, а тем более обладания монополией на нее. Случай “AI” доказывает реальность вертикальной академической мобильности, не связанной определенным образом с мобильностью горизонтальной.

Иначе в чем смысл нашего обсуждения, если предложенная нам в качестве модели «трехчленка» настолько структурно-детерминистская по своей сути, что не оставляет даже шансов надеяться на преодоление провинциальности в настоящей ситуации в принципе? Тогда логичнее и разумнее отказаться от межеумочного колониального существования и сделать ставку на туземную альтернативу, особенно учитывая нынешнюю политическую тенденцию к закрыванию страны и культивированию автохтонной науки, а также структурные преимущества, которыми заведомо располагают западные коллеги. Но дело в том, что, как показывает опыт “AI” или уже упоминавшихся мною не раз постколониальных исследований, новые столич-

ные дискуссии возникают во многом на ничейном интеллектуальном пространстве, из синтеза авторитетных и маргинальных дискурсов и в результате формулирования принципиально новой исследовательской проблематики.

Что действительно необходимо для успеха таких проектов в качестве структурной предпосылки, так это зона the middle ground, «срединности», и то творческое взаимное недопонимание, которое определяет происходящий там коммуникативный процесс и рождает новые смыслы, новые вопросы, новую исследовательскую оптику и, в конечном счете, новых акторов и иерархии. Как показал Ричард Уайт (автор концепции срединности, историк контактов французов, англичан и индейцев в районе Великих озер [White 1991]), чтобы преуспеть в этой ситуации, «приходилось пытаться понять мир и способ мышления других, а затем приспособить это понимание для достижения своих целей. <...> В “ситуации срединности” каждый действовал в интересах его собственной культуры, но ему было необходимо убедить людей другой культуры в правомерности совместных действий. Для достижения убедительности требовалось найти воображаемые или реальные точки взаимного совпадения между двумя культурами. Часто такие точки возникали случайно и в результате ошибок» (Цит. по русскому переводу, опубликованному в “AI”: [Уайт 2010: 30]).

Ситуация срединности — «это процесс взаимного и творческого неверного понимания» [Уайт 2010: 79]. Если освоение гегемонного дискурса в процессе научной коммуникации только воспроизводит провинциальность (это важный, но вовсе не окончательный шаг на пути к интеграции в «большой разговор»), то для обретения полноценной субъектности необходимо научиться представлять собственное локальное знание и свою неизбежно локальную исследовательскую проблематику на универсальном языке, актуализируя таким образом собственные провинциальные проблемы и превращая их в центральные. Именно это произошло с постколониальными исследованиями, когда вопросы, релевантные для поколения постколониальных интеллектуалов, оказались переформулированы ими как новая парадигма описания механизмов культурной и политической гегемонии. Именно так, обращаясь к скрытым механизмам социальной власти и политического доминирования, превратились в основополагающую эпистемологию гендерные исследования.

Та же закономерность сработала в случае с новой имперской историей, которую развивает “Ab Imperio”. Отдельные имперские ситуации, многочисленные исследования местных национализмов и идентичностей, механизмов государственного

контроля за разнообразным населением и выработки унифицирующих тропов его описания и методов управления актуальны не потому, что они «про Россию в деталях», а потому что они вскрывают механизмы функционирования сложносоставного и неравномерно организованного общества вообще. Новая имперская история не провинциальна ровно потому, что создает возможность для формулирования локальных проблем в универсальных категориях и таким образом включает локальные исследования в «большой разговор». Но этот разговор протекает в пространстве срединности, где не доминирует одна парадигма или одна интеллектуальная традиция, где представлены сразу много столиц и еще больше провинций, чей статус ситуационен и контекстуален. (Например, локус «столичности», с точки зрения контроля над профессиональной инфраструктурой, может одновременно воплощать провинциальность с точки зрения овладения наиболее авторитетной методологией.)

Социологическое описание проекта новой имперской истории России в категориях «трехчленки» малопродуктивно и вследствие многовекторности объекта: помимо России и «Запада» (США? Франция? Германия?) в модель пришлось бы вводить Украину, Литву, Казахстан, Польшу и пр., в разных конфигурациях и в разных модальностях. Это и есть результат ситуации срединности, отменяющей постсоветские и глобальные колониальные иерархии и легитимирующей сам исходный момент взаимного творческого недопонимания как предпосылку создания абсолютно нового и в равной степени общего для всех пространства взаимодействия.

В одном из номеров 2008 г. “AI” опубликовал форум о провинциальности российской исторической науки, формальным поводом к которому стал выход капитального труда Бориса Миронова «Социальная история России» [Миронов 2003 (1999); Mironov, Eklof 2000], гораздо более критически воспринятого в США, чем на родине автора. Вопрос стоял не столько о сути этих расхождений, сколько о колониальной ситуации, которая, по мнению инициатора дискуссии, американского русиста Бена Эклофа, проявилась в скептической реакции его коллег на *opus magnum* российского историка (см. Форум в: [AI. 2008. № 3. С. 289–399]; статья Эклофа: [Ekloff 2008]).

Характерно, что большинство участников обсуждения (российские, немецкие, американские и французские историки), соглашаясь с теми или иными наблюдениями Эклофа, не принимали колониальную модель в целом. И в качестве перспективы практически каждый описывал ситуацию срединности (не используя саму концепцию *the middle ground*). Так, Рональд Суни

предположил, что новое качество русистики достигается «по мере того как историческая профессия и в России, и на Западе избавляется от проржавевшей провинциальности в пользу космополитичного выбора между разнообразными историографическими практиками, вне зависимости от страны их происхождения» [Суни 2008: 322].

Мне кажется продуктивным (с социологической точки зрения) на время отставить «трехчленку», признав ее очевидную полезность и очевидную же ограниченность и детерминированность, и обратиться к изучению срединных пространств в академической коммуникации — сетевых дисциплинарных сообществ, масштабных международных проектов, новых научных журналов, не привязанных к конкретной научной корпорации и географическому локусу. На мой взгляд, там и пролегает «третий путь».

Библиография

- Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб.: Дм. Буланин, 1999. 3-е изд. СПб.: Дм. Буланин, 2003. Т. 1–2.
- Суни Р. Политика социальной истории // *Ab Imperio*. 2008. № 3. С. 319–323.
- Уайт Р. Срединность / Пер. В. Макарова // *Ab Imperio*. 2010. № 3. С. 27–77.
- Уайт Р. Творческая ошибка интерпретации и новое понимание // *Ab Imperio*. 2010. № 3. С. 78–83.
- Eklof B. “By a Different Yardstick”: Boris Mironov’s *A Social History of Imperial Russia, 1700–1917*, and its Reception in Russia // *Ab Imperio*. 2008. № 3. С. 289–318.
- Mironov B., Eklof B. *A Social History of Imperial Russia, 1700–1917*. Vol. 1–2. Boulder: Westview Press, 2000.
- White R. *The Middle Ground: Indians, Empires, and Republic in the Great Lakes Region*. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 1991.
- White R. Creative Misunderstandings and New Understandings // *The William and Mary Quarterly*. 2006. Vol. 63. No. 1. P. 9–15.

ВЛАДИМИР НАПОЛЬСКИХ

1

Последний — самый главный вопрос. Прежде чем разводить «туземную» и «провинциальную» науку (обе они имплицитно и вполне справедливо рассматриваются авторами, видимо, как «ненастоящие», только имитирующие — или в основном имитирующие — настоящую науку), хотелось бы понять, а что такое, собственно, настоящая-то наука: «требование указать различие между бытием и ничто включает в себе и требование сказать, что же такое бытие и что такое ничто» (Гегель). Авторы здесь именуют ее «столичной» — следует ли сие понимать так, что любая наука столиц (Москвы и Питера хотя бы) — настоящая? Из личного опыта могу сказать, что, хотя в провинции, где я живу (г. Ижевск и соседние), безусловно господствует наука «туземная» и, в меньшей степени, «провинциальная», мне не так уж редко приходилось иметь дело с образчиками этих видов науки и в столицах. Более того, возьму на себя смелость утверждать, что и в Москве, например, доля этих «наук» ничуть не меньше, чем в Ижевске — просто, в силу очень малого объема ижевской науки, доля «настоящей» науки (при примерно том же процентном соотношении) в абсолютном исчислении становится критически малой.

Между тем, судя по формулировке третьего вопроса, авторы склонны противопоставлять «туземную» и «провинциальную» науку науке мировой (точнее, зарубежной). С этим тоже согласиться никак нельзя: например, в области моих интересов (предыстория Евразии, этническая история, сравнительно-историческое языкознание, историческая ономастика, сравнительная мифология и религиоведение) ни европейская, ни американская современная наука образцом служить ни в коем случае не может — средний уровень, да и уровень лучших работ там (особенно в англоязычном сегменте) никак не выше российского, и с годами ситуация только усугубляется.

**Владимир Владимирович
Напольских**

Удмуртский государственный
университет,
Ижевск
vovia@udm.ru

Что же касается предложенных определений, то в целом с ними можно и согласиться — с одной, правда, поправкой: «туземная» и «провинциальная» науки не обязательно противостоят друг другу. На примере местной гуманитарной науки в финно-угорских областях России (да и мирового финно-угроведения в целом — см. о мировой науке в предыдущем абзаце) очень хорошо видны возможности сращивания этих двух симулякров. «Туземная» наука изолирует себя не от «мировой», а от настоящей, реальной науки, зато находит замечательную поддержку в этой самой «мировой» в лице современного российского и (главным образом) мирового (преимущественно финского) финно-угроведения с его убожеством, утерей серьезных традиций и авторитетов, мелкотемьем, ориентацией на «внутреннее потребление», но с сохраняющимися при этом внешними признаками старой доброй науки XIX — середины XX в. (научные организации, почетные звания, международные конгрессы, старые периодические издания-бренды и т.п.) в совокупности с системой специальных грантов. Современное финно-угроведение является, по сути, именно примером «провинциальной» науки в международном масштабе со всеми признаками, обозначенными в статье, и находится в симбиозе с «туземными» региональными подразделениями: последние легитимизируют существование первого, а первое покровительствует последним.

2

Общий механизм развития «туземной» науки можно представить следующим образом. Для людей с ненаучным складом мышления (именно они являются субстратом этого развития) всякое знание создается и существует исключительно в силу традиции. Обоснованность, соответствие фактам и логике, методологическая корректность его получения не играют никакой роли, важно лишь принятие определенной точки зрения как истинной, точнее — именно принятой, признанной как истинная (на деле она может быть истинной в научном смысле слова, а может и не быть таковой — это не имеет никакого значения, поскольку не может быть оценено в силу отсутствия соответствующей подготовки). Отсюда — избегание серьезного историографического анализа, запрет на вскрытие сакрализованного (ставшего тайным) механизма становления традиции, а также чрезвычайное стремление к созданию кумиров из давно почивших мифических основателей традиции (мифических потому, что на самом деле, как показывает реальный историографический анализ, традиция бывает создана отнюдь не ими, а сами эти фигуры часто представляют собой абсолютно дутые авторитеты).

С этим связаны и глубокий страх перед научной дискуссией и критикой, и возникновение сообщества «своих» людей, этот

страх разделяющих. Появление где-нибудь поблизости реальных ученых, попытка критики и дискуссии воспринимаются как нарушение общепринятых правил, «научной этики» (этот термин творцы «туземной» и «провинциальной» науки любят муссировать, при том что у них, как правило, проблем с этикой выше крыши). Первый способ спасения — указание на непринадлежность данного персонажа к сообществу, для начала — несоответствие его принятым в сообществе правилам: незнание местного языка, отсутствие формального образования, лучше — в местном учебном заведении и т.п. Если неприятный персонаж удовлетворяет таким квалификационным требованиям, возникающий когнитивный диссонанс разрешается сплетнями и тонкими намеками на нечестные пути получения данным персонажем званий, степеней и т.п. Наконец, вовсе безотказный прием — указания (как правило, не напрямую, а экивоками) либо на специфику личности нарушающего порядок персонажа, либо на какие-то ненаучные причины, часто — на мнимую национальную нетерпимость.

Передергивания из научной сферы в, например, национальную, а то и расовую — очень типичный прием; приведу одну показательную цитату: «Кто-то с критикой, особенно конструктивной, может как-то сосуществовать, пусть трудно, но уживаться. Удмурт — нет. Он говорит: “Что скажут? Что народ скажет? <...>”», и более того: «Даже антропология у нас часто другая. Напомню, видимо, не случайно, один из самых высоких в мире “индекс рыжести” среди удмуртов (почти как у ирландцев, если не выше). Что значит “рыжие”? Я имею в виду и буквально: ведь известно, что рыжий цвет предполагает легкоранимую кожу <...> Поэтому здесь, видимо, даже анатомия говорит о том, что с этими людьми, с этим народом надо быть хотя бы чуть-чуть аккуратнее» [Крылова, Владыкин 1999: 127]. Естественно, этот замечательный пассаж ни в коем случае не соответствует удмуртской национальной психологии, а лишь отражает комплексы и страхи представителей местной «туземной» науки.

Для поддержания такого состояния дел не нужны никакие научные инструменты и институты, необходима лишь группа людей, которая безоговорочно приняла бы данное знание и для которой данные представления являются мировоззренческим руководством. Мифологизированное знание, таким образом, в силу самой своей групповой природы автоматически превращается в этнодифференцирующий признак, происходит деление людей на «свой» — «чужой» относительно принятия или непринятия данного знания. В силу того что коллектив, принявший данный миф, на самом деле формируется еще до и в процессе принятия (читай: становления) мифа, субъектив-

но отыскиваются иные признаки для самоидентификации и обозначения себя («археологи», «работники нашего института» vs «университетские», «финно-угроведы», «национальная интеллигенция» и т.п.) — и эти же признаки создают впечатление наукообразности формирующегося сообщества («научные школы»), открывая дорогу от «туземной» науки к «провинциальной». По этим же причинам невозможно существование индивидуального знания и отдельных ученых как лиц свободной профессии: необходима осознанная и декларируемая принадлежность к «школе», «научному направлению», «коллективу». Когда такая принадлежность не декларируется, субъект становится вне коллективного мифологического знания, следовательно, плоды его творческих усилий знанием не являются («он не ученый», «он не имеет филологического / исторического образования», «вмешивается не в свою область», «ты где копал?»).

Отсюда стремление к созданию вокруг себя как можно более многочисленного и надежного коллектива, выражающееся в массовом производстве аспирантов, взаимных восторгах по поводу защищаемых диссертаций все равно какого качества и т.п. Вообще — замещение реальной научной жизни ритуальными отношениями и обусловленной ими общественной организацией, когда вместо рассказа о научных темах, разрабатываемых человеком, его гипотезах, аргументах и ошибках говорят: «Он был моим научным руководителем», «Он был моим оппонентом», «Это — ученик такого-то», «Они копали с тем-то» и т.п. Хорошо, когда между членами сообщества имеются земляческие и родственные связи, нередко это принимает формы открытого nepoтизма.

Поэтому даже мифологизированное знание, как это ни странно, для адептов данного культурного выбора не имеет самостоятельной ценности. На деле оно служит лишь инструментом, «оселком». Всякого рода разговоры, обсуждения, любая вербальная деятельность имеют целью не постановку проблем, уточнение, объяснение, развитие знания или хотя бы получение эстетического удовольствия от воспроизводства мифа (хотя эта сторона дела немаловажна и имеет свои ритуальные формы), но исключительно выяснение отношений по поводу мифа (выяснить и уточнить деление на «свой» — «чужой», обыграть миф как этнодифференцирующий признак). Последнее согласуется с полным отсутствием научной критики и дискуссии как жанра (ср. абсолютную коплиментарность так называемых «рецензий» местных авторов и склочный, с переходом на личности, раздачей ярлыков и т.п. характер «дискуссий»).

Поскольку значение имеет не создание знания и тем более не развитие его (постановка проблем, разработка гипотез и т.п.), но прежде всего рецитация текста, постольку и в передаче текста новым adeptам (т.е. в местном «образовании») господствует средневековая дидактичность и традиционализм («запись под диктовку»). Само такое преподавание уже имеет целью выяснить желание и способность того или иного новичка принять учение и, в конечном счете, постепенное введение его в круг неофитов. Поэтому в преподавании, например, просто умалчивается о гипотезах и даже фактах, не согласующихся с учением; царят высокомерное и настороженное отношение к ученикам либо тотальный контроль над ними (они еще не проверены на предмет верности). Присутствует постоянное опасение рассказать лишнее, дать возможность другим «украсть идею», поскольку новых идей-то как таковых нет, есть определенный набор раз и навсегда данных истин, а продвинутые в иерархии сообщества субъекты занимаются тем, что устанавливают соотношения этих истин. И данный страх понятен: во-первых, ограниченность материала не дает возможности принять участие в «творчестве» всем желающим, во-вторых, только опытные adeptы учения знают, что на самом деле соответствует традиции и будет принято сообществом, неопытный же может по недомыслию взорвать традицию изнутри.

Естественно, происходит ритуализация всех форм общественной активности по поводу знания (читай: мифа). Свободное поведение исключено, так как оно не позволяет по внешним признакам выявить своих и чужих. Необходимы стандартные «свои» формы поведения, которое состоит из четко определяющихся жанров: «выступление оппонента», «научный доклад», «отчет на комиссии», «экзамен», «консультация» (даже взятки берутся в ритуализованной форме — в виде платы за такие консультации и занятия), «беседа со студентами», «тост на банкете» и т.д. Банкет, в частности, вообще важнейшее проявление коллективной солидарности, во-первых, а во-вторых, способ проверить «своих» на прочность (что у трезвого на уме, то у пьяного на языке; к тому же пьяный может нарушить ритуальные формы поведения — повести себя недостаточно почтительно и т.п.). Особое значение приобретает раздача титулов, вручение дипломов, наград и премий, празднование юбилеев. Эстетическое удовольствие, которое получают adeptы при исполнении ритуалов, включающих как важнейшую часть и рецитацию мифов (в докладах, выступлениях оппонентов, лекциях и т.п.), определяется в основном ни с чем не сравнимым религиозным чувством единения и является для них одним из сильнейших жизненных стимулов.

3

Собственно, выше я уже ответил на этот вопрос, учитывая, правда, условность разделения понятий «провинциальность» и «туземность» и отсутствие их корреляции с границами российской, зарубежной и мировой науки.

4

Прежде всего — в области первичного сбора материала, хотя даже и здесь, как показывает опыт, доверять представителям «туземной» и «провинциальной» науки нельзя — часто факты и фантазии оказываются причудливейшим образом смешаны (см. выше о мифологическом знании как основе феномена).

Вторая возможность гораздо интереснее и в научном плане продуктивнее: социо- (или даже этно- ?) психологическое исследование самих «туземных» сообществ. Ведь практически каждый из тех, кто что-то реально делает в науке, имел здесь практику включенного наблюдения и немалый опыт. Давайте их изучать! По сути своей, это же нормальный образчик традиционного общества (естественно, в плане духовной культуры), поскольку имеет место так называемый «первобытный синкретизм» мифологии, рационального знания, религии и даже магии. Внимание к материальной стороне культуры «туземных» научных сообществ (форма одежды, оформление рабочих пространств, дизайн изданий и рукописей и многое другое) также может принести неожиданные интересные плоды. Надеюсь, эти заметки смогут послужить некоторым толчком к развитию такого рода исследований.

5

Самое главное здесь — избавиться от ложного представления о научном мировоззрении как лучшем и единственно верном. Это не так. Наука, безусловно, важна в жизни общества, но жить и мыслить научно могут отнюдь не все и даже не большинство людей. Да это и не нужно. Поэтому, вероятно, следует оставить каждому свое (при этом, конечно же, дистанцируясь от псевдонаучной жизни и не оставляя без критики наиболее вопиющие ее проявления) и заниматься своим делом. А гамбургский счет есть, и мы его знаем.

Кроме того, ситуация, когда наука оказывается в сложном, кризисном состоянии (а по моему убеждению, сегодня гуманитарные науки безусловно переживают глубочайший кризис), не уникальна, и нередко именно в эпоху кризисов имели место высочайшие достижения. Всё это уже было, и про это много раз говорили лучшие умы человечества, вот, например: «Мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась небольшая многострадальная кучка людей. Суровость судьбы в эти времена препятствует им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки. Большая часть тех, которые в настоящее время имеют вид ученых, одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и лицемерия. И если

они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек» (Омар Хайям Нишапури, «Трактат о доказательствах проблем ал-джабры и ал-мукабалы», XI в.).

Библиография

Крылова А.С., Владыкин В.Е. Об этносе, личности, толерантности (фрагмент неоконченного диалога) // Вестник Удмуртского университета. 1999. № 7. С. 123–128.

АНДРЕЙ НЕХАЕВ

On the Origin of Academic Species: формирование идейных ниш и $\mu\iota\mu\eta\sigma\iota\varsigma$ среди научных форм жизни¹

Статья о «провинциальной» и «туземной» науке, предложенная для дискуссии М. Соколовым и К. Титаевым, привлекает к себе внимание уже в силу самой своей провокационности. Предпринятый ими анализ, этакий «экологический мониторинг» окружающих территорий науки и расселившихся на них академических видов, вполне согласуется с тем, что каждый из нас может наблюдать в рамках своей исследовательской повседневности. Это и скучно-унылые изыскания (день ото дня все более обременяющие утробу отечественной научной периодики), и весьма причудливые представления многих из « α -особей» той или иной академической популяции о подлинной научности (а значит, и о том, как именно следует заниматься наукой), и пафосные речи над могилами идей (давно оставивших наш «дольный» мир), и велеречиво-помпезные молитвы научных властей (всех мастей и калибров), и даже наши собственные крошечные Хирши. Разумеется, в таких обстоятельствах велик соблазн, глядя на царство

Андрей Викторович Нехаев
Омский государственный
технический университет
A_V_Nehaev@rambler.ru

¹ Материалы для дискуссии подготовлены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-06-00010а.

науки нашей, воскликнуть: «Исчислено... Взвешено... Найдено легким... И разделено...»¹. Но инициаторы этой дискуссии все-таки не пророки, а исследователи: им важно разобраться прежде с тем, *что и как* влияет на численность и научные свойства академических популяций.

Все пять вопросов, составляющих основу для данной дискуссии, исходят из предложенной инициаторами дискуссии трихотомии: «столичная» / «провинциальная» / «туземная» науки. Это деление с институциональной точки зрения является вполне релевантным для модели научной коммуникации, в которой каждый из участников озабочен прежде всего новизной высказываемых им реплик, а стремление побороть эту «базовую академическую тревожность» порождает две, экзотические на первый взгляд, академические формы жизни — «туземцев» и «провинциалов». Однако на деле развернувшаяся здесь дискуссия с *идеологической* точки зрения скорее подразумевает дихотомию в делении науки — «плохая» / «хорошая», — предлагая не пять, а всего лишь два крайне острых и провокационных вопроса: «как отделить *плохую* науку от *хорошей*?»² и «как *плохую* науку превратить в *хорошую*?»³ (вопрос, пожалуй, более головоломный, чем ему предшествующий). Взяв за основу оба эти идеологических вопроса, давайте попробуем разобраться с тем, какие ответы на них можно было бы подыскать.

В качестве очевидного и надежного параметра в подразумеваемой инициаторами дискуссии модели научной коммуникации, фиксируя который, мы оказываемся в состоянии отделить «зерна» (достойные внимания научные идеи) от «плевел» (разнообразного квазинаучного флуда), а значит, и отличить *хорошую* науку от *плохой*, должен послужить прежде всего тот кумулятивный эффект, который возникает как следствие от

¹ Источник этой парафразы — известная библейская история о толковании пророком Даниилом предсказания, явленного царю Валтасару (Книга пророка Даниила 5: 25–28).

² Примечательно здесь то, что инициаторы дискуссии, демаркируя границы исследуемой проблемы, по-видимому, не разделяют общего настроения «позитивистской идеологии» (которая, пожалуй, под натиском современных социальных исследований науки и технологии сохраняется как символ веры лишь среди самых ортодоксальных представителей естественных наук), оправдывающей использование в таких случаях иной дихотомии — «наука» / «не-наука». В противном случае и проблемы как таковой просто не существовало бы, а был бы лишь упрямый «факт»: науки в России нет и в обозримой перспективе не предвидится.

³ Стоит отметить, что так называемой «столичной» академической формой жизни, как кажется, можно здесь и вовсе пренебречь, поскольку в исследовании М. Соколова и К. Титаева за *a priori* берется, что для поведения ее представителей «базовая академическая тревожность» оказывается не столь значима. Ведь подобная форма жизни и является той доминирующей популяцией, которая определяет, что же именно мы обязаны (а значит, и согласимся) признать новизной для каждой конкретной реплики. Иными словами, это верхушка «пищевой цепи» мира академической природы («кормовой базой» в данном случае служит такой специфический ресурс, как «академическое внимание»). А значит, представители «столичной» науки могут вполне себе позволить попросту не реагировать на потенциальные риски оказаться «несъедобными» для коллег.

множества индивидуальных вкладов, осуществляемых отдельными репликами участвующих в научной коммуникации исследователей. Чем больше этот вклад, тем, казалось бы, ярче «заметность» исследователя (так называемая *visibility*), а значит, и выше шанс быть «съеденным» своими коллегами, получив тем самым искомую долю внимания с их стороны. Отталкиваясь от этой *антидарвинистской метафоры*¹, мы можем себе позволить рассматривать наблюдаемый нами мир академической природы как особую и специфическую среду, в которой конкуренция за привлечение *чужого*² внимания, и как следствие стремление быть «съеденным», играет ключевую роль.

Важным отличием академической конкуренции от естественного отбора, царящего в мире Природы, является то, что (в отличие от биологических) ни один из известных нам российских академических видов (в том числе и ни один из тех видов-эндемиков, которые так скрупулезно и блестяще описаны инициаторами этой дискуссии) чаще всего не вступает в какую-либо конкуренцию с другими видами, исключая тем самым любые проявления *межвидовой борьбы*³ в семействе *homo academicus*. Однако, пожалуй, более принципиальным отличием является здесь то, что, наблюдая за существованием представителей российской популяции этого семейства, нам не удастся обнаружить и сколько-нибудь оживленной *внутривидовой борьбы*. Причины этому просты и кроются в специфических «экологических» механизмах, влияющих на выбор российскими академическими видами той конкурентной стратегии, которая должна обеспечить им максимальные адаптационные преимущества.

Трудно сомневаться в том, что сама по себе конкуренция не может не стимулировать интеллектуала к тому, чтобы он пытался выделиться среди своих соперников *новыми* и *оригинальными* идеями, которые *можно* и *нужно* конвертировать в признание⁴. Ведь как-никак это признание позволяет ему зани-

¹ Если все *живые организмы* борются за выживание и сохранение своего существования, всеми способами избегая попадания на «стол» к своим хозяевам по пищевой цепи, то *академические организмы* скорее наоборот — делают все, чтобы быть как можно более привлекательными и «аппетитными» для своих коллег-«каннибалов». При этом стоит помнить, что номинация этой метафоры как *антидарвинистской* скорее имеет под собой сугубо иронические основания, нежели концептуальные.

² Здесь неважно, чье именно внимания, принадлежащего своему же виду или нет. Иными словами, это может быть внимание или ближайших коллег по общей дисциплине, или коллег из других дисциплин, или даже вовсе не коллег — например, администрирующих науки чиновничьих групп.

³ Так, «провинциалы», игнорируемые «столичной» наукой, в основе своей брезгают любыми «туземными» формами жизни, которые в свою очередь пренебрегают ими всеми вместе взятыми.

⁴ Хотим мы этого или нет, но приснопамятный принцип *publish or perish* пока никто не отменял [Coelho 1976]. Даже с точки зрения элементарной экологии мира академической природы, ее представитель, постоянно публикующий результаты своих исследований, так или иначе обладает

мать желаемые академические ниши (со всеми произрастающими в их пределах системами статусов и символизма), а значит, и дает возможность оказывать воздействие на результирующие векторы эволюции теперь уже внутри самого мира академической природы, т.е. непосредственно влиять на направления и формы интеллектуального творчества, «открывая» или «закрывая» целые тематические поля на территории науки¹.

Эта, на первый взгляд, сугубо «экзистенциальная»² практика интеллектуалов содержит в себе и весьма неожиданные следствия, демонстрирующие нам, как именно эгоистические интересы отдельно взятого представителя мира академической природы могут как служить определенной видовой пользе, так и наносить вред всему семейству *homo academicus*, способствуя его постепенной инволюции. На первый взгляд, кажется абсурдным то, что как *внутривидовые*, так и *межвидовые* отношения в мире академической природы способны стать источником интеллектуальной деградации, тем не менее это так и есть, а предъявленные нам натуралистические заметки инициаторов дискуссии о «провинциальной» и «туземной» науке служат прекрасным тому свидетельством. Давайте попробуем разобраться, в чем же причины этого и как именно это происходит. Почему существующая в мире академической природы система внутривидовых и межвидовых отношений исключает из его жизни борьбу и конфликт³, подменяя их толерантностью и разного рода конформными формами поведения?

Причины лежат на поверхности, они видны «невооруженным глазом», и сами инициаторы дискуссии неоднократно их описывают. Это, так сказать, «идейная» имитация⁴, рождаемая в ходе распространения такой чрезвычайно паразитической

определенными адаптационными преимуществами перед своими более «робкими» конкурентами (исключая, разумеется, из их числа отдельных академических «динозавров» вроде Джорджа Мида или Людвиг Витгенштейна), имея-таки шанс (пускать и чисто теоретический) привлечь к себе внимание, разбудить «цитационный аппетит» и быть все же «съеденным» своими коллегами (а значит, и сделать свой, пускай и ограниченный, «генетический» вклад в эволюцию семейства *homo academicus*).

- ¹ Выступая в роли так называемого *disciplinary gatekeeper* и одновременно куратора принятой в дисциплине системы академических статусов.
- ² Иначе говоря, связанная со средой их обитания и необходимостью вести постоянную *struggle for existence*.
- ³ Стоит согласиться с Рэндаллом Коллинзом в том, что «конфликты — жизненный сок интеллектуального мира» [Коллинз 2002: 143]. Это значит, что там, где нет борьбы, нет и новых идей, поскольку идея в этом случае превращается для представителя семейства *homo academicus* в избыточный рудимент, своего рода «наследственный атавизм».
- ⁴ Так, инициаторы дискуссии приводят серию забавных примеров из жизни «провинциалов», которые прекрасно иллюстрируют своего рода «академическую эпийокию», проще говоря, так называемое «нахлебничество» (известную из мира Природы форму комменсализма, при которой один организм, будучи тесно связанным с другим и не нанося ему вреда, питается остатками его пищи).

формы поведения, как подражание одних представителей семейства *homo academicus* другим.

Интеллектуалы действительно наблюдают друг за другом для того, чтобы определить, какие именно идеи позволят их создателям и носителям успешно занять выгодные академические ниши, наделяя осваивающие их популяции исследователей соответствующими социальными статусами и гарантируя им определенные репутационные выгоды. Здесь мы видим типичный пример того, как необходимость конкурировать рождает спрос на такие адаптационные стратегии, как имитация и подражание (явление весьма распространенное в Природе). Однако одно это не может служить источником устойчивой идейной деградациии и исключать любые формы межвидовой и внутривидовой борьбы, поскольку в обычных условиях интеллектуалы не только подражают друг другу, но и дифференцируются между собой для того, чтобы то, что ими предлагается, было относительно уникальным на «идейном ландшафте». Здравый смысл и жизненная опытность подсказывают, что если мы оказались успешны в нахождении своей *особой* ниши на «идейном ландшафте», нам уже не нужно соревноваться напрямую со всеми остальными интеллектуалами.

Разумеется, степень «новизны» и «оригинальности» наших идей существенно ограничена со стороны других представителей семейства *homo academicus*, поскольку чтобы быть принятой и признанной, наша идея как минимум должна быть понятой. Это значит, что наша идея должна иметь известную долю «оригинальности», но быть при этом вполне «понятной»¹ для других интеллектуалов так, чтобы ее относительная «съедобность» могла быть установлена и всем было ясно, какого рода академическую нишу можно с ее помощью занять. Кумулятивный эффект, возникающий от подобных действий представителей мира академической природы, должен препятствовать снижению «съедобности» и «питательной ценности» их идей в результате прямой конкуренции среди интеллектуалов, чего, например, следовало бы ожидать, если бы все они идейно предлагали одно и то же². А значит, любая ниша на

¹ Отчасти головоломная задача, стоящая перед каждым представителем *homo academicus*, сродни известному «парадоксу шифровальщика» Марка Бейкера [Бейкер 2008: 9–10]. Подобно тому как шифровальщик должен найти такой языковой код, который был бы одновременно и очень похож, и в то же время сильно отличался от языкового кода шифруемого им сообщения, интеллектуал, страдающий «базовой академической тревожностью», должен подыскать идею, подобную уже известным, но все-таки сильно от них отличающуюся.

² Подобные эффекты непрямои конкуренции, возникающие в условиях разделенного рынка, когда обмен оказывается встроен в относительно узкие цепи, описывает и анализирует в своей сетевой теории рынка Харрисон Уайт [White 1992]. Впрочем, нечто весьма схожее с непрямои конкуренцией мы можем наблюдать и в действии механизмов интеллектуальных сетей Рэндалла Коллинза [Коллинз 2002].

«идейном ландшафте» — это не просто утилитарный результат совмещения спроса и предложения или примитивный экологический эффект давления на организм окружающей среды, но скорее попытка самих интеллектуалов понять, как им следует осуществлять селекцию идей, которые были бы подобны тем, что уже находятся в «пищевой цепи» и пользуются популярностью среди академических организмов (поддаваясь тем самым влиянию интеллектуальной моды), но в то же время были бы не настолько им сродни, чтобы вступать с ними в прямую конкуренцию¹.

Так интерпретируемый процесс формирования идейных ниш позволяет нам понять, откуда берется адаптационное (или, если угодно, статусное и репутационное) неравенство в семействе *homo academicus*, представители которого, конкурируя между собой, осуществляют одновременно новации и мимесис. При этом новации и неравенство оказываются здесь столь тесно связанными, что успешным среди интеллектуалов становится лишь тот, кто формирует (по крайней мере, на некоторое время) такие академические ниши, в границах которых предложенные им идеи достаточно уникальны, а значит, и защищены от прямой конкуренции. Более того, когда, благодаря мимесису, активно практикуемому среди представителей семейства *homo academicus*, конкуренция все-таки достигает его ниши, наибольшие адаптационные преимущества оказываются у тех, кто быстрее остальных переключается на поиск новых идей. В итоге, нормально функционирующий мир академической природы, включающий в себя механизмы конкуренции посредством межвидовой и внутривидовой борьбы среди интеллектуалов, становится способен к новации через подражание, постоянно эволюционируя от более примитивных простых идей к более абстрактным и сложным, стимулируя нас создавать и обживать все новые и новые ниши.

Однако описываемая инициаторами дискуссии «экология» российских научных ландшафтов столь «токсично» действует на представителей семейства *homo academicus*, что этот «естественный» механизм внутривидовой и межвидовой борьбы

¹ Используемая здесь теория формирования ниш была предложена биологами Джоном Одлинг-Сми, Кевином Лэландом и Маркусом Фельдманом [Odling-Smee, Laland, Feldman 1996; 2003]. Ее особенностью является иное понимание эволюционного процесса, нежели то, которое принято в классическом дарвинизме. Так, теория формирования ниш трактует эволюцию не как непрерывный и асимметричный процесс (организмы приспосабливаются к окружающей их среде, и никогда — наоборот), а как процесс дискретный и допускающий известную долю симметрии (организмы не только занимают ниши, они их формируют и сами формируются, адаптируясь к ним), закрепляя тем самым за живыми организмами активную роль в их собственном эволюционном развитии. Стоит отметить, что теория формирования ниш оказала серьезное влияние не только на современную биологию, но и на лингвистику. В частности, на ее основе был предложен ряд остроумных и, как кажется, весьма перспективных нативистских теорий языка [Бикертон 2012].

дает серьезный сбой, нарушая необходимый баланс в отношениях между оригинальностью и подражанием. С чем же это связано и почему представители российской популяции *homo academicus* так катастрофически неоригинальны и склонны к одному только тотальному подражанию (либо самим себе, как это принято в среде «туземцев», либо иным, более развитым формам академической жизни, что так распространено среди «провинциалов»)? Иными словами, почему в российских условиях новация оказывается менее эффективной адаптационной стратегией, чем мимесис?

Ответ очевиден: *новация попросту не формирует неравенства* среди представителей российской популяции семейства *homo academicus*, поскольку не дает никому из них никаких адаптационных преимуществ. При этом наблюдаемое нами почти полное и повсеместное отсутствие межвидовой и внутривидовой борьбы среди представителей российской популяции *homo academicus* рождает два эволюционных дефицита (в равной степени характеризующих как «провинциальную», так и «туземную» науку), только подкрепляющих могущество и господство миметических адаптационных стратегий.

Первый тип дефицита заключается в отсутствии общих и незамкнутых академических ареалов, внутри которых бы обитали представители разных видов семейства *homo academicus*. Этот своеобразный дефицит видового разнообразия внутри академических ареалов связан с локальностью и изолированностью заселяющих их популяций, каждая из которых является подлинным эндемиком¹. А значит, ее возможности внести хоть сколько-нибудь значительный «генетический» вклад в эволюцию мировой науки через механизмы наследственной изменчивости оказываются мизерными (если таковые вообще имеются). Взамен этих рискованных инвестиций в эволюционные процессы мировой науки академические виды-эндемики, старательно избегая любых форм межвидовой борьбы, получают почти идеальный баланс между адаптационными интересами своей популяции и условиями занятой ими ниши, поскольку в ней не будет способен выжить (по крайней мере, без значи-

¹ Разнообразный по своим целям и задачам анализ причин локальности и замкнутости российских академических популяций можно обнаружить в серии исследований, предпринятых петербургскими социологами [Соколов 2009; 2012; Губа, Семенов 2010]. В них есть детальное описание вполне типичных российских академических ареалов (институтов, кафедр или лабораторий), в границах каждого из которых мы почти никогда не встретим сколько-нибудь серьезного видового разнообразия. При этом неспособность представителей российской популяции *homo academicus* покинуть пределы своего «домашнего» ареала еще более усугубляется тем, что академическая занятость, пожалуй, одна из самых негибких форм занятости с точки зрения мобильности на рынке труда. Представители академических профессий имеют, как правило, самые низкие шансы (а часто и склонности) к смене своей профессии (чем с успехом пользуются разнообразные чиновничьи группы, курирующие образовательную и научную политику).

тельных мутаций) ни один пришлый представитель семейства *homo academicus*. Представители академических видов-эндемиков, чтобы выжить и сохранить за собой занятый ими ареал, скорее обязаны подражать (как-никак, но это самая экономичная стратегия адаптации), нежели осуществлять новации.

Второй тип дефицита тесно связан с принятой в среде академических видов-эндемиков политикой «размножения» и воспроизводства собственной популяции (пожалуй, именно здесь наиболее рельефно проступают все их таксономические особенности). Излюбленной и фактически единственной доступной для академических организмов в условиях эндемизма политикой «размножения» и воспроизводства является инбридинг¹. Это неизбежно усиливает их и без того высокую изолированность вида-эндемика, способствуя конформности поведения ее представителей². Подобного рода селекция через «близкородственное скрещивание» дает свои результаты: с каждым новым поколением академические организмы приобретают стойкий «иммунитет» к любым новациям³. Неравенство в таких условиях никак не связано с поиском и выдвижением новых идей, а имеет ярко выраженный поколенный характер. Чем «старше» / «моложе» академический организм, тем он «выше» / «ниже» расположен по отношению ко всем остальным представителям академического вида-эндемика, а значит, для него единственно успешная адаптационная стратегия — это подражать и ждать своей очереди⁴.

¹ Впрочем, в некоторых академических популяциях все чаще встречаются и такие необычные политики воспроизводства, как, например, партеногенез, т.е. «размножение» без «оплодотворения» новых поколений академических организмов какими-либо идеями, а некоторые из наиболее влиятельных «а-особей» таких академических мирков даже втайне мечтают об «асексуальном размножении» по принципу вегетативного, где новое поколение академических организмов будет действительно «плоть от их плоти».

² Здесь трудно не заметить прямую аллюзию к идеям, принадлежащим Джорджу Хомансу [Homans 1950; 1961], Майклу Хечтеру [Hechter 1987], Джеймсу Коулману [Coleman 1990], согласно которым небольшие и изолированные группы обладают очень высоким уровнем солидарности и благодаря частому взаимодействию членов этих групп между собой у них формируется строго конформный стиль поведения.

³ Изучение вредных влияний инбридинга на научную продуктивность исследователей имеет давнюю традицию и достаточно широко распространено [Eells, Cleveland 1935; Horta, Veloso, Grediaga 2010], особенно в тех национальных академических системах, в которых инбридинг фактически составляет основу политики по отбору новых исследовательских кадров (как, например, в Испании или Португалии). Российская же академическая система, пребывая в условиях так называемой «бедной науки», пока еще очень смутно (за редким исключением) осознает, какие опасности таит в себе инбридинг и чем это может быть чревато [Сивак, Юдкевич 2009].

⁴ В идеале таким академическим формам жизни хочется, чтобы ученую степень и научные почести либо распределяли согласно выслуге лет, либо присваивали коррелятивно той иерархии, которая существует среди административных должностей (например, если заведующий кафедрой — это просто крупный ученый, то ректор — уже ученый международного класса, а, скажем, тот же министр — просто самый умный в Отечестве наш человек).

Особенно это характерно для популяций, состоящих из представителей «туземной» науки. В их среде идея (этот важнейший «генетический» материал для научной эволюции) обесценивается столь стремительно, что безвредные формы комменсализма «провинциалов» (вроде эпиойкии, или так называемого «нахлебничества») вытесняются более уродливыми — например, инквилинизмом, или, проще говоря, захватом чужого текста путем «убийства» его хозяина (от самых «мягких», если позволительно так выразиться, вариаций на тему плагиата до крайне «жестких» действий по воровству и насильственному отъему целых диссертаций¹).

На этом, полагаю, краткий метафорический экскурс в историю происхождения и таксономию российских академических видов можно завершить. Теперь нам остается только разобрать, какие именно импликации он в себе содержит для инициированной здесь дискуссии о недостатках и преимуществах «туземной» и «провинциальной» науки. Для этого давайте заново сформулируем вопросы нашей дискуссии, принимая во внимание тот идеологический контекст, который скрыт в дихотомии «плохая» / «хорошая» наука.

Итак, какой вклад могут внести «провинциальная» и «туземная» науки в развитие научного знания?

К сожалению, этот вопрос, взятый в рамках избранной же нами самими «биологической» метафоры, не может иметь никакого однозначного ответа², кроме банального наблюдения натуралиста-любителя, явленного нам в ничего не объясняющей догме — «Природа-мать не терпит пустоты». Тем не менее сам по себе этот вопрос не лишен «биологического» смысла, поскольку знание тех ролей, которые исполняются подобного

¹ Так, на памяти автора этих строк, ректор одного из новосибирских коммерческих вузов приехал как-то в город Омск на своем роскошном «гелендевагене», да приехал не просто так, а с «визитом» к одному из недавно защитившихся соискателей ученой степени доктора xxx наук. Цель этого визита была «скромная»: сообщить этому самому соискателю о том, что, дескать, в ВАК его диссертацию «завернули», а он, стало быть — ректор, не мудрствуя лукаво, диссертацию эту-то и прикупил, а значится, когда этот «крупный ученый муж» пойдет с ней на защиту, «шуму» там всякого лишнего лучше не поднимать (все равно все уже «схвачено»).... На том они и порешили. К слову сказать, бывший научный консультант этого соискателя и (о, ужас!) даже сама ведущая организация на защите нашего инквилаина высказались достаточно однозначно, заявив о наличии в диссертации плагиата (более того, позицию свою они недвусмысленно обозначили и в ВАК), но, как и стоило ожидать, ничего страшного в итоге не произошло.

² Для тех же, кто настойчиво желает приоткрыть тайную завесу над замыслом, царящим в мире академической природы, можно посоветовать обратиться за ответом к теории глобальных интеллектуальных изменений Рэндалла Коллинза. Так, в одном из фрагментов своего исследования под говорящим титулом «Что делают третьестепенные философы?» [Коллинз 2002: 118–122] он разъясняет, что вклады многочисленных, но малозначительных фигур в среде интеллектуалов (ведь примеры выдающегося творчества относительно редки) состоят прежде всего в производстве некоторого, так сказать, «фонового уровня радиации» в системах коммуникации и мышления, необходимого для того, чтобы в ходе ряда «мутаций» возникли-таки новые образцы подлинно творческой мысли.

рода незначительными с эволюционной точки зрения семействами и видами, позволило бы нам существенно продвинуться в понимании того, что такое академическая эволюция и какие из возможных телеономических ее трактовок мы могли бы принять. Иными словами, должны ли мы, исследуя академические виды и их таксономические признаки, придерживаться в своих объяснениях ламаркизма или дарвинизма? Но для этого поставленный здесь вопрос следует прежде адресовать профессиональным биологам, пускай они дадут нам разъяснение о том, чем именно с эволюционной точки зрения оправданно существование тех или иных видов-эндемиков? Помимо того что их представители услаждают наш взгляд, делая созерцаемый ландшафт не столь безжизненным, каким он мог бы быть без них.

Далее, какая из наук лучше — «туземная» или «провинциальная»?

Впрочем, это даже не вопрос, а скорее тест на академическую политкорректность. Но, по счастью, «биологу», изучающему мир академической природы, не обязательно быть политкорректным, достаточно быть просто корректным. С точки зрения филиации идей (этакого академического аналога потока генов) как базового смысла эволюции науки, «провинциальная» наука более предпочтительна¹, нежели «туземная». В любом случае мимесис как следствие размножения при помощи «оплодотворения» какими-то идеями в большей степени соответствует духу академической природы, чем подражание вкупе с «однополыми» или даже «бесполыми» формами «размножения». Впрочем, вне сомнений и то, что именно «туземная» наука более успешно адаптирована к местным ландшафтам и особенностям их экологии, чем «провинциальная». «Туземную» науку пока во многом спасает изолированность от «провинциальной», поскольку рост интенсивности контактов «туземцев» с «провинциалами» (разносчиками многих неведомых для них «идей-болезней») в результате активной межвидовой борьбы, скорее всего, привел бы к пандемии и череде академических и репутационных смертей среди «туземцев».

¹ Формируемый для этого «провинциалами» идейный «коридор» может быть весьма узок, а местами и чересчур извилист, как это убедительно продемонстрировал один из инициаторов данной дискуссии [Соколов 2009]. В этом смысле есть широкое поле для иронии и сарказма над тем, как обращаются с идеями представители «провинциального» академического вида. Так, если для «туземца» идеи — это только бесполезный ментальный рудимент, который уже давным-давно не служит даже целям «размножения», то для «провинциала» — это что-то вроде интеллектуального феромона, который им используется либо в качестве простого релизера, побуждающего коллег вести себя определенным образом (т.е. что-то вроде подразумеваемого предложения «Я читаю Пьера Бурдьё, пожалуйста, съешь (процитируй) меня»), либо более изощренно — в виде своеобразного лихневмона, позволяющего замаскироваться под другой более «респектабельный» в его глазах академический вид (как реальный — «столичный», так и некий воображаемый).

В этом отношении приводимый инициаторами дискуссии пример Чикагской социологической школы в качестве «туземной» и одновременно добившейся выдающихся научных результатов не может нами рассматриваться как валидный¹, поскольку ее представители были типичными «провинциалами» (хотя, разумеется, и сильно отличными от тех, которых в массе своей можно обнаружить в пределах российской популяции). Слава и влияние Чикагской социологической школы объяснимы не только теми институциональными условиями, которые возникли вследствие финансовых вливаний Джона Рокфеллера и менеджерского гения Уильяма Харпера, но прежде всего тем, что ее представители избежали изоляции, а значит, и не разделили общей участи всех герметично существующих академических видов-эндемиков. Так, Альбион Смолл (отец-основатель социологического факультета в Чикагском университете и “American Journal of Sociology”) активно интересовался идеями европейских социологов (в частности, многие из важнейших статей Георга Зиммеля были опубликованы именно благодаря его участию [Козер 2006: 310]), а Уильям Томас и Роберт Парк учились в Германии и испытали, по их собственным словам, сильнейшее влияние европейской академической традиции².

И наконец, последний вопрос — как превратить «плохую» науку в «хорошую»?

На первый взгляд, самое простое решение — это распахнуть «двери» и «окна» изолированного мирка академических видов-эндемиков, позволив им тем самым свободно «мешаться» друг с другом и беспрепятственно перемещаться между разнообразными идейными и академическими нишами, не заботясь о собственных адаптационных преимуществах и репутационных выгодах. Однако автор этих строк не разделяет чересчур

¹ Мне кажется, предложенные инициаторами дискуссии термины «провинциальный» и «туземный» допускают некоторую путаницу в своих синонимических рядах. Дабы ее избежать и сохранить чистоту контекста дискуссии, следует специально указать на то, что термин «самобытный» более удачно монтируется с термином «провинциальный», нежели с термином «туземный», который в свою очередь синонимичен скорее термину «заурядный» (если не сказать «унылый»). Исходя из этого не будет большим преувеличением высказать тезис о том, что от «самобытности» до «оригинальности» путь намного короче, чем к ней же, но уже от «заурядности». В каком-то смысле «самобытность» — это просто способность при случае умело распорядиться собственными «идеями-генами», смешав их с чем-то принципиально иным так, чтобы полученный в ходе «мутации» результат скорее обладал всеми доступными в таких условиях адаптационными преимуществами, а не недостатками.

² В числе тех, кто оказал это влияние, оставив на социологии Чикагской школы «европейский» след, можно обнаружить самые разнообразные имена. И это не только имена социологов (Огюст Конт, Габриэль Тард, Герберт Спенсер, Фердинанд Тённис и все тот же Георг Зиммель), здесь мы встречаем имена и философов (Вильгельм Виндельбанд и Фридрих Паульсен), и психологов (Вильгельм Вундт и Альфред Адлер), и языковедов (Мориц Лазарус и Хейман Штейнталь) [Козер 2006: 300–311, 473, 489].

«пасторальных» настроений, свойственных некоторым апологетам социологии науки в духе Роберта Мертона (они, как кажется, весьма превратно трактуют предложенный им этос), поскольку с представленной здесь «биологической» точки зрения идеальная «мертоновская» популяция *homo academicus* в условиях панмиксии, отсутствия изоляции и любых форм давления естественного отбора (межвидовой и внутривидовой борьбы) окажется совершенно неспособна к эволюции, неизбежно подпадая под действие закона Харди-Вайнберга.

В этой связи опять же показателен успех Чикагской социологической школы, основа которого кроется вовсе не в том, что ее представители «мешались» со всеми подряд, а как раз-таки в том, что межвидовое давление со стороны представителей других академических популяций (и прежде всего — Гарварда, основавшего собственный социологический факультет) вынудило их превращать собственные идеи во все новые академические ниши. Ведь эволюция в семействе *homo academicus* возможна только там, где существует описанная нами выше взаимосвязь новаций и неравенства, а значит, активно ведется межвидовая и внутривидовая борьба.

Но если нет никаких простых рецептов превращения «плохой» науки в «хорошую», что же нам тогда следует делать? Прежде всего, не стоит забывать о том, что теория формирования ниш говорит нам о симметрии в эволюционных процессах: мы не столько приспосабливаемся к окружающей среде, сколько создаем ниши, адаптируясь к которым в итоге и эволюционируем. Значит, все в наших руках, а *minimum minimorum* на пути от «плохой» науки к «хорошей» — это хотя бы не делать того, что мы могли бы не делать. Например, не писать академических текстов, начисто лишенных смысла, и не позволять делать это другим, поскольку каждый такой текст, в конечном счете, работает на то, чтобы формировать ту самую «унылую» нишу, к которой нам всем рано или поздно придется приспособливаться.

Библиография

- Бейкер М.К. Атомы языка: Грамматика в темном поле сознания. М.: ЛКИ, 2008.
- Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. М.: Языки славянских культур, 2012.
- Губа К.С., Семенов А.В. В центре внимания или центрах внимания? Анализ системы авторитетов локального академического сообщества // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. 13. № 3. С. 133—154.
- Козер Л.А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте. М.: Норма, 2006.

- Коллинз Р.* Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.
- Сивак Е.В., Юдкевич М.М.* Академический инбридинг: за и против // Вопросы образования. 2009. № 1. С. 170–187.
- Соколов М.М.* Изучаем локальные академические сообщества // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 76–82.
- Соколов М.* Российская социология после 1991 года: интеллектуальная и институциональная динамика «бедной науки» // *Laboratorium*. 2009. № 1. С. 20–57.
- Coelho P.R.P.* Rules, Authorities, and the Design of Non-for-Profit Firms // *Journal of Economic Issues*. 1976. Vol. 10. No 2. P. 416–428.
- Coleman J.S.* Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
- Eells W.C., Cleveland A.C.* The Effects of Inbreeding // *The Journal of Higher Education*. 1935. Vol. 6. No. 6. P. 323–328.
- Hechter M.* Principles of Group Solidarity. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Homans G.C.* The Human Group. N.Y.: Harcourt, Brace & Company, 1950.
- Homans G.C.* Social Behavior: Its Elementary Forms. N.Y.: Harcourt, Brace & World, 1961.
- Horta H., Veloso F.M., Grediaga R.* Navel Gazing: Academic Inbreeding and Scientific Productivity // *Management Science*. 2010. Vol. 56. No. 3. P. 414–429.
- Odling-Smee F.J., Laland K.N., Feldman M.W.* Niche Construction // *American Naturalist*. 1996. Vol. 147. No. 4. P. 641–648.
- Odling-Smee F.J., Laland K.N., Feldman M.W.* Niche Construction: The Neglected Process in Evolution. Princeton: Princeton University Press, 2003.
- White H.* Identity and Control. A Structural Theory of Social Action. Princeton: Princeton University Press, 1992.

ЮРИЙ ПУСТОВОЙТ

К вопросу о провинциальной и туземной науке

Я работаю в одном из самых туземных вузов в одной из самых провинциальных наук. Университет, в котором я работаю, возник в 30-е гг. прошлого века для обеспечения кадрами металлургической и горной промышленности. Долгое время такие учебные заведения были ориентированы на

Юрий Александрович Пустовойт
Сибирский государственный
индустриальный университет,
Новокузнецк
pustovoit1963@gmail.com

конкретные предприятия, и в них намного значимее процессы и решения, принимаемые ключевыми министерствами, чем научными и образовательными структурами. Степень кандидата и доктора технических наук, присуждаемая диссертационными советами, обычно основана на понятиях «производство», «изобретение» и «внедрение» и скорее ориентирована на решение проблем расположенного в непосредственной доступности комбината, завода, шахты и фабрики. Если в советские времена широко практиковался «обмен опытом» и защита диссертаций в других городах и на других предприятиях, а именно выпускников вуза старались направлять в «столичные» аспирантуры (или в города с аналогичным производством) с последующим возвращением и преподаванием в родных стенах, то сейчас, в силу известных обстоятельств, обычная траектория «диплом — аспирантура — защита — преподавание — защита — подготовка аспирантов» редко когда выходит за границы вузовских площадей.

Конечно, реальная картина намного сложнее, но в большинстве случаев, по моим наблюдениям, с каждым годом все больше и больше ППС никогда не видели и не подозревают, что есть еще «другая» научная и образовательная среда, столкновение с которой иногда представляет хорошо знакомый по учебникам «культурный шок». В целом за фразой «делать науку» у большинства коллег стоит правильное оформление «ВАКовских» документов и патентов, поддержание необходимых связей и знакомств с людьми, обладающими административным опытом и репутацией «того, у которого все защищаются», участие в комплексе лабораторных работ, имеющих, судя по некоторым высказываниям, ритуальное значение. Вообще привычные понятия «концепт», «гипотеза», «данные» имеют меньшее значение, чем стандарт и технология. Понятно, что в этом случае расширение диапазона взаимодействия чревато рисками, которые вполне могут свести на нет завоеванные конкурентные преимущества.

Я окончил исторический факультет, кандидат политических наук. Не то чтобы я жаждал защититься именно по специальности 23.00.02., область близких мне проблем («судьбы людей во власти») вполне могла быть рассмотрена и в исторических, и в социологических науках. Однако формальные кафедральные связи, неформальные иерархические приоритеты сыграли определяющую роль в выборе того, где и как будет проходить защита. Политическая наука у нас самая вестернизированная и, в соответствии с предложенным подходом М. Соколова и К. Титаева, может считаться самой провинциальной. Стандарты научного знания здесь задавались, задаются и, судя по всему, будут задаваться ведущими учеными американских

университетов. В этом, по-моему, нет особой проблемы. В любом ремесле есть мастера и подмастерья. Подмастерья тоже в свое время становятся мастерами, создающими свои шедевры. Если хватает способностей. Особого административного давления столицы на провинцию я не наблюдаю, хотя, возможно, просто не сталкивался с подобными проблемами. Ну, разве что тем, кто работает в этой области, может быть более важно владение английским для хорошей академической карьеры.

Что касается институционализированных и поведенческих форм, то ритуалы, язык, юмор и сети знакомств лиц, ориентированных на «провинциальность» и «туземность», с одной стороны, разнятся, с другой — вполне вписываются в существующую административно-управленческую иерархию конкретного вуза. Выбор той или иной формы — дело индивидуальное и определяется, с одной стороны, личными теоретическими симпатиями, с другой — возможностью получения некоторых конкурентных преимуществ. «Академические банды», как в свое время отметил Т.Дж. Шефф, действуют так же, как уличные группировки с относительно легким входом в ее состав, но достаточно сложным выходом. Однако верность «своим» не означает борьбу на уничтожение «чужих», если этого не требуют какие-либо серьезные обстоятельства, например распределение ресурсов. Действующее неформальное правило «не мешать другому, если это не касается тебя лично» пока сглаживает имеющиеся противоречия. Например, в рамках одной кафедры могут спокойно существовать и туземцы, и провинциалы. Позиция заведующего в основном не особенно влияет на положение приверженца той или иной формы, если он выполняет закрепленную за ним нагрузку и выдает необходимые для рейтинга объемы публикаций.

Туземцы чаще всего рассуждают о титулах, административном ресурсе, кто что сделал в локальном сообществе и что за это получил, провинциалы — о малодоступных данных и эксклюзивных идеях. Хотя и те, и другие во многом напоминают «правильных пацанов», ориентированных на приоритет групповых норм над личным выбором, все же такие явления, как идеологическая верность, доктринерство, использование неоперационализированных понятий и нефальсифицируемых гипотез среди приверженцев туземной науки распространены в большей степени, чем среди адептов провинциальной. Хотя, конечно, это необходимо проверить.

Если считать мировым уровнем те области, где наших ученых читают и с мнением их серьезно считаются, то это археология и ряд некоторых узких областей, связанных с историей России,

русским языком и семантикой. В силу отсутствия запросов от общества и власти (первое ориентировано на публицистику, вторая — на обслуживание принятых решений), закрытости архивов и трудного доступа к ключевым субъектам политического процесса вряд ли нас ждут прорывы в общественных науках и истории.

Обе формы вполне приемлемы для развития. Положительная роль провинциальной науки в том, что она знакомит с новыми «столичными» модными тенденциями, задает общие стандарты деятельности и максимально жестко формулирует требования к научному результату. И это заставляет двигаться. Туземность не дает окончательно впасть в комплекс неполноценности и формирует скептическое отношение к внешнему исследовательскому опыту. Я бы вообще это рассматривал как стадии одного процесса: туземность переходит в провинциализацию и далее находит свою экологическую нишу в столице. И в этом случае провинциализм как позиция продуктивней.

Обе формы можно рассматривать как некоторые внутренние комплексы, которые, как и всякий психологический комплекс, преодолеваются со временем и в ходе решения конкретных задач. Растет популярность публичных лекций, экспертных оценок, консультаций. В целом, интерес к результатам научной деятельности либо конкретных ученых, либо в некоторых локальных областях, связанных, в первую очередь, с социальными, экономическими и политическими кризисами и конфликтами, будет увеличиваться «естественным» путем. Необходимо время.

АДИЛЬ РОДИОНОВ

Адиль Родионов

Еврейский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан
adilrodion@gmail.com

На четвертом конгрессе социологов Казахстана прозвучал своеобразный манифест казахстанской социологии, суть которого заключалась в требовании развивать собственную теорию. Инициатором данного манифеста выступил Леонид Яковлевич Гуревич, название его доклада звучало как вызов: «Способна ли казахстанская социология выйти за рамки провинциальной эмпирики?» [Гуревич 2011]¹. Свидетели этого

¹ Для читателей, не знакомых с текстом Гуревича и не располагающих временем на его прочтение, я отмечу, что провинциальная эмпирика в тексте казахстанского социолога близка по смыслу к понятию «провинциальная наука». Правда, для Гуревича провинциальность — это оценочная характеристика, и он не прилагает особых усилий для разработки определенного концептуального содержания.

выступления в ходе частных бесед рассказывали автору, что доклад имел большой успех среди присутствующих. Призывы о необходимости разработки собственной социологической теории появлялись и ранее в работах казахстанских социологов [Шаукенова, Коновалов, Ракишева 2009], но звучали не столь явно и агрессивно. Это были скорее пожелания, нежели требование. В случае манифеста Гуревича мы имеем дело именно с требованием.

Во время чтения текста М. Соколова и К. Титаева «Провинциальная и туземная наука» ассоциация с манифестом Гуревича возникла произвольно. На мой взгляд, статья петербургских социологов, выступающая отправным пунктом последующих соображений, затрагивает глубоко социологическую по своему характеру проблему. Там, где для большинства дисциплин проходит граница между наукой и не наукой, в случае социологии мы наблюдаем иные пограничные разметки: столичная, провинциальная и туземная науки. На постсоветском пространстве (и не только) существует множество уникальных школ туземной науки в рамках различных академических дисциплин, но для социологии характерно особое гостеприимство к подобным формам интеллектуальной активности¹.

Последующие рассуждения по большому счету представляют собой рассказ о том, какие институциональные и поведенческие формы принимает провинциальная и туземная наука. Эти рассуждения имеют определенную ценность в рамках дискуссии по поводу определений провинциальной и туземной науки, а также для определения потенциального вклада в научное знание со стороны провинциальной и туземной науки. Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению, я позволю себе небольшую ремарку, если так можно выразиться, технического характера. Развивая свою объяснительную схему, я буду активно прибегать к примерам из статьи Соколова и Титаева, а также к примерам из предшествующих работ авторов. Причина выбора подобной стратегии проста: большинство читателей имеют лишь общее представление о казахстанской социологии, и не хотелось бы злоупотреблять их доверием, активно представляя примеры из реалий казахстанских социологов и предлагая верить мне на слово. В то же время, понимая, что мой комментарий представляет интерес в первую очередь в силу экзотичности², я не могу позволить себе полностью

¹ Степень раздробленности социологии как дисциплины хорошо иллюстрирует не только наличие множества теоретических школ, но даже отсутствие общего понимания термина «теория». Как показывает Габриель Абенд [Abend 2008], различные теоретические перспективы просто не соотносимы, поскольку используют термин «теория» в различных смыслах.

² Не уверен, что «Антропологический форум» публиковал ранее работы казахстанских исследователей.

исключить иллюстрации казахстанской социологии. Таким образом, экзотика будет присутствовать, но ее будет немного.

Итак, приступая к анализу, представим вкратце логику размышлений авторов провинциальной и туземной науки. Рассматривая академическую коммуникацию как беседу, Соколов и Титаев напоминают нам, что научный разговор может состояться только при соблюдении определенного набора правил. Одно из ключевых правил заключается в необходимости «поддерживать осведомленность о релевантных новостях в своей области». Таким образом, академическая коммуникация представляет собой соревнование в осведомленности и способности использовать эту осведомленность (умение обнаруживать недосказанность в предшествующих новостях и заполнять эти пробелы адекватными сообщениями).

Однако существует ряд препятствий, мешающих равномерно распределению внимания и, соответственно, нормальному развертыванию дискуссий. Авторы выделяют три причины уязвимости дискуссий: демографическую, тематическую и инфраструктурную. Чтобы продемонстрировать, в чем заключается уязвимость, обратимся к третьей причине. Инфраструктурные проблемы — трудность доступа к информации, сложность подачи собственного сообщения — заставляют ученых, отдаленных (в первую очередь отдаленных физически) от места центральной беседы, либо замыкаться на локальных разговорах (туземная наука), либо превращаться скорее в слушателей, чем рассказчиков (провинциальная наука). На мой взгляд, данная схема имеет один недостаток. Остается неясным, почему создаваемые в рамках провинциальной и туземной науки сообщения так сильно отличаются от тех, что производит столичная наука. Демографические, тематические и инфраструктурные проблемы выступали прекрасным объяснением низкой степени вовлеченности ученых с академической периферии в дискуссии в рамках столичной науки, но никак не проясняют причины подобных различий. Условно говоря, неужели отказ (или, наоборот, чрезмерное желание) читать и цитировать произведения Вебера и / или Латура ведет к столь глубокой трансформации научного разговора. На мой взгляд, Соколов и Титаев уделяют чрезвычайно мало вниманию контексту, который обрамляет производство знания в рамках провинциальной и туземной науки, что не позволяет им представить более полное объяснение подобной трансформации. Попробуем восполнить этот пробел.

Итак, в случае производства научного знания мы имеем дело с особым соревновательным процессом, в котором его участники борются между собой за два вида достижений:

- 1) попадание в информационные реестры;
- 2) сохранение места в информационных реестрах.

Здесь необходимо внести важное дополнение. Для успеха соревновательного процесса каждый из потенциальных участников должен иметь равное право подать голос и продемонстрировать свою осведомленность в предшествующих дебатах, а также искусство внести в эти дебаты значимые дополнения. Индексы цитирования наглядно показывают, что невозможно добиться равного права быть выслушанным, но равное право подать голос необходимо для ведения академической коммуникации.

Отметим лишь наиболее известные «инструменты», позволяющие поддерживать равное право высказываться. Во-первых, институт пожизненного найма, расширяющий границы академической свободы и позволяющий снизить давление на ученых со стороны университетской администрации. Во-вторых, трансформация политики принятия статей в академические журналы и широкое внедрение процедуры «слепого» рецензирования уравнила возможности публикации молодых авторов и их более опытных коллег, обладающих значительными активами социального капитала (см. подробнее: [Губа 2011: 214]). В-третьих, принцип позитивной дискриминации (или стремление оценивать людей исключительно на основе их собственных достижений, а не предписанных статусов) при найме на работу и / или распределении грантов. Все это способствовало уравниванию шансов в рамках столичной науки.

Хорошо, правила игры создают (относительно) равные возможности для проникновения в информационные сводки, но каким образом можно сохранить за собой место в этих сводках? Длинные цепочки новостей, относительно которых необходимо поддерживать осведомленность, появятся только в том случае, если содержание сообщений приобретает определенный уровень абстракции и, следовательно, универсальности. Нет смысла поддерживать осведомленность в сообщениях, тесно связанных с миром «здесь-и-сейчас». Подобные сообщения быстро теряют актуальность и значимость, это скоропортящиеся продукты, в то время как сообщения, достигшие более высоких уровней абстракции, сохраняют значимость в течение длительного времени. Итак, участники коммуникации пытаются представлять сообщения на высоком уровне абстракции, и дисциплина разделяется между приверженцами различных теоретических перспектив.

Однако в академическом мире существует еще один вариант беседы, который, насколько позволяет мне говорить моя осве-

домленность в социологии научного знания, остается практически без внимания. Более того, этот вариант нередко не рассматривается в качестве «нормальной» академической беседы, а в лучшем случае как прелюдия к ней. Определим этот вариант как беседу между учителем и учеником. В данном случае не соблюдаются равные возможности подать голос. В академическом мире, функционирующем по принципам лицензий, диалог учитель — ученик доминирует лишь незначительное время на ранних этапах (до инициации в академический мир), однако в постсоветских академических реалиях, функционирующих на принципах сана, подобная форма диалога сохраняет ключевое значение на протяжении всей академической жизни (см. подробнее: [Родионов 2011]). Наиболее ярким примером подобной коммуникации является защита диссертации, однако необходимо понимать, что это не ограничивается одной лишь защитой.

Какие изменения происходят в академической коммуникации в данном случае? Одна из ключевых особенностей данного типа коммуникации заключается в том, что слабейшая сторона легко может подвергнуться атаке со стороны агентов, занимающих привилегированные позиции¹. При этом вступать в диалог с сильными агентами, доказывая правильность теоретических построений, не представляется возможным, слабейший всегда окажется в проигрыше. В любой момент он(а) имеет шанс столкнуться с фразой, исчерпывающей дискуссию: «Нет, вы без этой демагогии скажите мне...» (см. подробнее: [Соколов 2010]).

В этой ситуации применяется целый ряд специфических поведенческих стратегий, кардинально изменяющих научную

¹ Примеры подобного произвола со стороны сильнейших несложно найти на страницах обсуждаемой статьи: некоего автора просят сделать ритуальную ссылку, отмечая, что не предполагается чтение текста со стороны заведующего кафедрой, но если вдруг он (с похмелья!) решит прочесть, то ссылка необходима.

Преобладание коммуникации неравных в академическом пространстве сигнализирует о невысокой степени автономности науки как социального института [Мертон 2006] или, говоря языком Бурдьё [2005], о том, что наука как особое социальное поле не сумела достичь должной степени герметичности. Явным свидетельством низкой степени герметичности или автономности являются карьерные стратегии. Успешность ученого в мире туземной науки, да и в мире провинциалов [Олейник 2011] определяется формально занимаемой должностью. Проректор автоматически признается более серьезным ученым, чем заведующий кафедрой, а заведующий кафедрой является более признанным научным авторитетом, чем рядовой профессор. При этом занятие административных должностей связано не с академической производительностью, а с закулисными играми. Инвестируй в личные контакты — вот основное правило. «Академическая карьера делается на свадьбах и похоронах», — учил один из опытных историков. Ярким примером существующего порядка являются конференции, посвященные юбилеям и / или памяти патриархов казахстанской социологии. На подобных мероприятиях несложно узнать множество интересных фактов из биографии виновника торжества, но, к сожалению, не удастся практически ничего услышать по поводу идей мэтра. Участники подобных мероприятий слишком много инвестируют в личные контакты, что позволяет им с легкостью вспомнить множество интересных биографических фактов, но скромное внимание непосредственно к интеллектуальному наследию не позволяет им сказать что-либо существенное о научном вкладе мэтра.

беседу. Например, одной из традиционных защитных стратегий слабой стороны становится рассказ от имени данных. Подобная стратегия позволяет снять с себя ответственность, позволить говорить материалу. Как следствие, академическая коммуникация будет проходить на низком уровне абстракции.

Защитные стратегии слабой стороны не являются ключевой причиной сохранения низкого уровня абстракции в научных сообщениях. Неравенство позиций — это якорь, не позволяющий диалогу покинуть пределы конкретной локализации. Почему? Ответ на поверхности: неравенство позиций сторон, ведущих диалог, требует постоянных знаков подтверждения этого неравенства, например, в виде разнообразных реверансов перед сильнейшим(и). Значимые другие находятся в том месте, где разворачивается конкретный диалог, а не виртуальном мире идей. Степень, должность и деньги на исследование предоставляет не Вебер, а председатель совета, начальник, чиновники из комитетов, курирующих науку. В этих условиях академическая коммуникация не может покинуть физическое пространство, в котором она разворачивается. Неравенство позиций заставляет участников коммуникации выполнять значительный объем ритуальной работы, сигнализирующей о существующем порядке и поддерживающей (воплощающей) его. Оказавшись в подобных условиях, участники коммуникации (ученые, по крайней мере ученые на бумаге) в основном вынуждены оперировать, если говорить языком Альфреда Шюца [2004], конструктами обыденного, а не научного мышления.

Обозначенные особенности способствуют формированию и закреплению целого культа относительно выбора объекта исследования. Если в рамках нормальной науки (в куновском понимании) огромное внимание уделяется умению ставить научные проблемы (способность находить связь между (доминирующей) теоретической перспективой и интересующим эмпирическим кейсом), то в нашем случае значительные усилия концентрируются просто на выборе объекта. При этом выбор представляет собой специфический вариант игры в прятки, когда каждый участник игры пытается выбрать такой объект, который не совпадает с объектами, исследуемыми другими участниками. Соколов и Титаев демонстрируют нам наиболее грубый пример этой игры: *«в любом случае, в [НАЗВАНИЕ ГОРОДА] об этом еще никто не писал»*.

Одним из последствий преобладания подобных поведенческих стратегий является фрагментация дисциплины по объектам исследования, а не на основе теоретических перспектив. Анализ авторефератов казахстанских ученых по трем социальным наукам — политология, социология и экономика — демон-

стрирует, что объекты исследования, а не теоретические перспективы, выступают основной линией демаркации между различными «научными школами».

В то же время нельзя говорить о науке тотальных фактов и абсолютном отсутствии теоретических построений. Однако теория, что получает развитие в подобных условиях, приобретает причудливую форму. Зачастую она становится частью ритуальной работы. Чтобы быть ученым, нужно говорить наукообразным языком. Что может послужить лучшим подспорьем в данном случае, как не набор труднопроизносимых терминов? Интересно наблюдать за тем, как протекают в этой среде теоретические дискуссии. Хорошей иллюстрацией подобной дискуссии будет диалог из американской киноленты «Анализируй это». В одном из фрагментов картины главный герой — психоаналитик — попал на сходку глав мафии. Причем он появился на собрании на правах консельери, поскольку мафиозный босс, по совместительству пациент нашего героя, не смог поехать по причине нервного срыва. Ситуация осложнялась тем, что противники босса потребовали ответа по давним счетам. Психоаналитик сильно волновался (неудивительно, он был не в курсе каких-либо дел), но сумел взять себя в руки и продемонстрировать всю силу «образованного человека». Диалог приведу дословно:

— У меня давние счета с семьей X, — говорит мафиози.

— Ты по первому вопросу или по второму, — переспрашивает в ответ психоаналитик-консельери.

— Что за второй, я знаю один.

— Эй, как можно обсуждать первый вопрос в отрыве от второго. С парнем говорил?

— Что за парень?

— Парень с вопросом.

— О чем вообще речь, что за вопрос?

— Откуда мне знать, ты начал сам.

Как мы видим, один из участников дискуссии прибегает к набору интеллектуальных уловок, пытаясь избежать разговора по конкретному вопросу. Теперь замените первый и второй вопрос названием подходов, методологий, теоретических концептов, а вместо парня подставьте Бурдые или Ковалевского. В рамках казахстанской социологии несложно оказаться в роли свидетеля множества подобных дискуссий (при этом словесным пинг-понгом будут заниматься не один, а все участники беседы), и я предполагаю, что примеры подобных дебатов

несложно найти также в рамках российской социологии. Если в столичной социологии теория является отправной точкой для развития дискуссии, то в провинциально-туземном варианте это знак прекращения мало-мальски содержательной беседы.

Правда, важно отметить наличие точки разрыва между провинциальной и туземной наукой в рамках теоретической работы. Описанный выше вариант теории больше характерен для туземной науки, в рамках которой теория либо выступает чистым аппендиксом наукообразной формы, либо выполняет дополнительную функцию — заискивание перед сильнейшим¹. В случае ее провинциального аналога мы получаем несколько иную картину. Провинциалы, будучи более подготовленными и сильными игроками, зачастую применяют агрессивные стратегии². Они позволяют себе напоминать локальным мэтрам, что помимо авторитетов в рамках конкретного места и времени существуют также другие авторитеты.

Какой из двух вариантов науки (провинциальная или туземная) потенциально может внести больший вклад в производство научного знания? Соколов и Титаев отдают предпочтение туземной науке. Провинциальная наука слишком заморожена пересказами выданного в столице, в то время как «изобретатели велосипеда» — туземцы — имеют шанс создать что-то действительно важное. В качестве примера авторы вспоминают о Чикагской школе, которая, на их взгляд, была близка к туземной науке.

Однако мой ответ выглядит несколько иным. Туземная наука просто не имеет никаких шансов, поскольку не может достичь должного уровня абстракции³. Самые серьезные новостные сообщения, созданные представителями этого варианта науки, представляют собой фактологическую информацию. Объяснительных конструкций как таковых нет, теория — лишь интеллектуальная уловка, используемая для (1) прерывания неприятной дискуссии, (2) демонстрации принадлежности к научному сообществу, (3) легитимации существующего (ака-

¹ Прекрасный пример подобного можно найти у Юрия Тынянова. Описывая сцену приемных экзаменов в Царскосельский лицей, Тынянов [1973] рассказывает о том, как директор говорил про верно-подданнические чувства, которые нужно было куда-то внедрить. Листок в его руках плясал, он постоянно запинался, голос дрожал. В общем, во всей этой словесной (а точнее, звуковой) каше лишь одно звучало отчетливо — «Его величество».

² Стратегии подрыва по Бурдые [2005: 491–492].

³ Чикагскую школу в этом случае нельзя отнести к варианту туземной науки. Тот факт, что чикагцы не рассматривали великих европейских социологов в качестве своих предшественников, не превращает их в туземцев или провинциалов. Ключевая особенность и слабость туземно-провинциальных наук заключается в невозможности выйти на должные уровни абстракции, которые будут способствовать приросту научного знания.

демического) порядка. В этом плане представители провинциальной науки имеют больше шансов. Можно надеяться, что не только брюки с множеством карманов и рубашки с самым большим числом клеток, но и абстрактное мышление будет завезено в провинцию. Тем более что нормы и правила поведения, установившиеся в наиболее продвинутых «провинциальных» университетах, в значительно большей степени способствуют развитию академических свобод в сравнении с нормативными порядками, принятыми в их туземных аналогах.

Таким образом, призывы Леонида Гуревича к созданию собственных теорий (то, с чего началась данная работа), видимо, так и останутся призывами. Если они все же будут реализованы, то это будет свидетельством перехода от провинциально-туземных гибридов к тотальной туземной науке¹. В действительности появление «настоящей» академической социологии на постсоветском пространстве возможно лишь в оазисах развитого соц... провинциализма.

Библиография

- Бурдые П.* Поле науки // Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики. СПб: Алетей, 2005.
- Губа Е.* Publish or perish или развенчание меритократии в науке // Вопросы образования. 2011. № 3. С. 210–225.
- Гуревич Л.* Способна ли казахстанская социология выйти за рамки провинциальной эмпирики. 2011. <<http://www.bisam.kz/articles/empirika.html>>, дата последнего обращения 26.06.2013.
- Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ; Хранитель. 2006.
- Олейник А.* Underperformance в теории и университетской практике // Социология науки и технологий. 2011. № 2. С. 68–79.
- Родионов А.* Сан или лицензия // Наука и образование в Казахстане. 2011. № 3. С. 64–69.
- Соколов М.* Столкновение академических цивилизаций. 2010. <<http://polit.ru/article/2010/02/24/kurakin/>>, дата последнего обращения 26.06.2013.
- Тынянов Ю.* Кюхля. Рассказы. Л.: Художественная литература, 1973.
- Шаукенова З., Коновалов С., Ракишева Б.* Анализ социологической информации итогов выборных кампаний в Казахстане 2003–2008 // Социс. 2009. № 5. С. 144–146.
- Шюц А.* Избранное: мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.
- Abend G.* The Meaning of Theory // Sociological Theory. 2008. Vol. 26. No. 2. P. 177–198.

¹ Иными словами, произойдет то, против чего выступает сам Леонид Гуревич, а именно «замен[а] тихого провинциализма воинственной местечковостью» [Гуревич 2011].

СВЕТЛАНА РОДЫГИНА

1

В целом с предложенной терминологией можно согласиться по отношению ко всем социальным и гуманитарным наукам. Однако, на наш взгляд, определяя науку как «провинциальную» или «туземную», следует учитывать территориальное и профессиональное «местоположение» автора: место проживания и степень активности и значимости научных достижений. Исследователю, работающему в провинции, крайне сложно характеризовать и оценивать столичную, общероссийскую и тем более мировую науку. С пониманием дела он может высказываться относительно проблем, стоящих перед учеными в его городе и области. Поэтому в дальнейших рассуждениях речь пойдет о характеристике науки в отдельно взятом регионе.

Анализируя ситуацию в научных философских кругах нашего региона, следует отметить, что в нашем городе существует единственная философская школа на базе государственного вуза. Ее ведущие специалисты формируют ядро диссертационного совета, в котором ежегодно осуществляются защиты кандидатских и докторских диссертаций. На уровне совета существуют налаженные связи с коллегами из соседних регионов (Татарстан, Удмуртия, Коми, Нижний Новгород), а также «столиц» — Москвы и Санкт-Петербурга. Однако те ученые, которые оказались на периферии деятельности совета или за ее пределами (по причине несовпадения тематики, отсутствия личных связей и знакомств с ведущими специалистами и т.п.), рискуют оказаться предоставленными самим себе. В этой ситуации определение своего научного статуса и отношение ко «всей остальной науке» зависят от личностных качеств человека: либо он превращается в «туземца поневоле» (со всеми вытекающими характеристиками), либо пополняет ряды представителей «провинциальной» науки.

Наблюдения за деятельностью коллег-гуманитариев из разных вузов показывают, что наиболее устойчивые связи существуют с центрами науки в городах Москва и Санкт-Петербург. Эти контакты зачастую носят односторонний характер. Т.е. информация поступает в регион из центра посредством посещения курсов повышения квалификации, конференций, получения отзывов и рецензий и т.п. В обратном направлении — из региона в столицу транслируется незначительное количество информации, которая, в большинстве случаев, остается незаметной (или известной очень узкому кругу специалистов, ограниченных конкретной специализацией или проектом) по отношению к достижениям и возможностям научной элиты, сосредоточенной в крупных городах. Приезд в город представителя «столичной» научной диаспоры (особенно с целью публичных выступлений) — явление редкое и значимое. Что касается других регионов страны, то наиболее устойчивы интеллектуальные связи с «соседями» — Татарстан, Удмуртия, Пермский край и т.д.: происходит обмен информацией о научных мероприятиях, изданиях, защитах, рецензировании, оппонировании работ. В этом случае осуществляется двунаправленный обмен информацией. Из более отдаленных регионов информация поступает весьма обрывочная, в основном в виде информационных писем и релизов мероприятий.

Таким образом, приведенные рассуждения свидетельствуют о значительной мере провинциальности философской (и в целом гуманитарной) науки в регионе.

3

В самой постановке вопроса заложено противоречие: ни «провинциальная», ни «туземная» вариация науки по определению не способны развиваться на «мировом уровне», ибо ставят перед собой другие цели и задачи. Исключением может стать отечественная история. В условиях концепции, согласно которой история одного государства является составной частью всемирного исторического процесса, «внутренние» открытия российской истории могут значительно повлиять на изучение истории стран, связанных с ней географическими, политическими, экономическими и культурными интересами.

По аналогии можно, пожалуй, упомянуть о значимости достижений (а также их исследований) русской (особенно религиозной) философии, поскольку она предстает уникальным источником, квинтэссенцией культурного и интеллектуального знания по этой тематике.

4

Логично предположить, что наиболее интересные и важные открытия представителями провинциальной и туземной науки могут быть сделаны в области краеведения, исследования местных диалектов, фольклора, т.е. отраслей науки, имеющих,

в первую очередь, локальное, региональное значение. В этом случае сопоставление туземной и провинциальной науки должно осуществляться не по критерию качества результатов (ибо узкая, специализированная тематика в том и другом случае провоцирует субъективность оценок), а по степени их полезности, востребованности для интеллектуальной жизни данного региона.

5

Несомненно, что поиски и осуществление собственного научного пути — приоритетная задача для каждого ученого, поскольку только в этом случае он получает возможность постоянно развиваться, находить единомышленников, а значит, реализовывать свой интеллектуальный потенциал. Прежде чем говорить о «рецепте» продвижения исследователя в общероссийскую или мировую науку, следует остановиться на некоторых причинах, ведущих к ситуации профессиональной изоляции ученого:

- Банальное отсутствие устойчивых навыков пользования ПК в своей профессиональной деятельности, как простейших офисных программ, так и глобальной сети (особенно актуально среди поколения деятелей науки и преподавателей вузов старше 40 лет).
- Скучная информация о текущих конкурсах, грантах и т.п. (поскольку интеллектуальные связи зачастую локализуются в ближайшем территориальном окружении), а также крайне ограниченное финансирование гуманитарных исследований.
- Незначительное количество научных школ в среде сотрудников негосударственных образовательных учреждений (каждый из ученых-преподавателей действует «на свой страх и риск», разрабатывая собственную тему, без консолидации усилий с коллегами). Ситуация складывается из-за большого количества одноплановых образовательных учреждений, которые, в силу российской действительности, не в состоянии подобрать штат исключительно из высококласных специалистов, желающих объединяться в научные школы. Такое положение дел способствует формированию стереотипов, о которых пойдет речь ниже.
- Стереотип, согласно которому наука продолжает существовать исключительно в государственных вузах, провоцирует на крайне невнимательное отношение к работам коллег из негосударственных образовательных учреждений. Такой стереотип прослеживается в организации стипендиальных программ, грантов. Так, программа «Гранты молодым преподавателям государственных вузов России»

адресована преподавателям «государственных вузов, участвующих в Федеральной стипендиальной программе: не старше 35 лет, имеющих ученую степень кандидата наук с педагогическим или научно-педагогическим стажем в вузе не менее трех лет» <<http://www.fondpotanin.ru/granty-molodym-prepodavatelyam-c24>>. В этом случае молодой исследователь, имеющий основным местом работы негосударственное образовательное учреждение, не может участвовать в программе.

Все вышеперечисленное ведет к формированию устойчивого ощущения собственной незначительности, которое описал в книге «Одиночество в сети» Я. Вишневский: «Действительность выработала тщательно скрываемый ото всех комплекс ученого из второй лиги». Подобный настрой препятствует активному развитию потенциала самого исследователя, а также пагубно сказывается на мировоззрении его студентов (учеников). Они сомневаются в своих возможностях для занятий научной работой, полагая ее уделом гениев, которые учатся в крупнейших столичных вузах, и тем самым потенциально пополняют собой ряды «туземцев» и «провинциалов» интеллектуальной сферы.

Обобщая причины, ведущие к выпадению ученого из академического поля, можно заметить, что большинство из них лежат в личностно-субъективной сфере. Они ведут к тому, что научный работник не столько не может, сколько не хочет активизировать свою работу, сделать ее более открытой для остальных членов научного сообщества. Таким образом, путь решения этой многоаспектной проблемы лежит в осознании исследователем своего статуса в научном мире и целенаправленных действиях, направленных на изменение ситуации в желаемую сторону. Однако эти действия зависят от наличия таких личностных качеств, как заинтересованность в работе, желание развиваться и самосовершенствоваться, инициативность, упорство, научная любознательность. Активная жизненная позиция исследователя позволяет ему налаживать личные научные контакты за пределами традиционного локального круга профессионального общения, не заикливаться на идеях и авторитетах местных научных школ, транслировать поступающую информацию коллегам из других регионов. Таким образом ученый, сумевший шагнуть за рамки «провинциальной» науки, преодолевает своеобразный социально-профессиональный фильтр, отделяющий научную элиту от рядовых членов академического сообщества.

НИКОЛАЙ РОЗОВ

**Путь к «столичности» —
наука, бросающая вызов**

Михаил Соколов и Кирилл Титаев написали превосходную статью: по содержательной направленности она бьет в главные болевые точки сегодняшних социальных и гуманитарных наук в России, в концептуальном плане в ней умело разворачивается известная богатая метафора «светского разговора» (кто кого слышит в науке, кому дают говорить и т.д.), в своей риторике авторы вполне органично совместили видимость беспристрастного анализа, мягкую самоиронию в отношении «провинциалов» и искусно замаскированное под «величайший натуралистический интерес» победительное презрение к «туземцам».

Приглашение откликнуться на идею разделения «туземной» и «провинциальной» науки с обещанием публикации — это, конечно же, остроумная форма опроса коллег как часть продолжающейся исследовательской программы. Согласившись участвовать в этом действе, я выполняю правила игры, но отвечаю на большинство вопросов максимально кратко, чтобы основную долю ограниченного текстового объема посвятить ответу на последний вопрос («каков путь к “столичности”?»), который давно меня самого интересует [Розов 2002а; 2002б, 2007].

1

Согласен. Данная дихотомия (точнее, шкала) вполне приложима к ситуации в более или менее знакомых мне областях: философии, социологии, политологии и истории. Про «столичность» в них ничего нового поведать не смогу: везде Америка и Западная Европа, разве что в социологии и политологии больше первая, а в философии и истории — вторая. В наиболее близкой мне области — исторической макро-социологии — особенно успешно продвинулись американские ученые (от Б. Мура и Р. Бендикса до Ч. Тилли, И. Валлерстайна

Николай Сергеевич Розов

Институт философии и права
СО РАН, Новосибирск /
Новосибирский государственный
университет
nrozov@gmail.com

и Р. Коллинза). Впрочем, есть значимые одиночки и в других странах (ирландец С. Меннел, голландец Й. Гудсблом, австралиец Г. Снукс и др.). (Обзор направления см.: [Коллинз 2000], а также переводы в трех выпусках Альманаха «Время мира» [Время мира 2000; Структуры истории 2001; Война и геополитика 2003].)

2

Круг моего непосредственного общения — академические и университетские философы Новосибирского Академгородка, почти сплошь «провинциальные» в терминах Соколова и Титаева. Ходовым издевательством, которое пускается в ход одним из лидеров этого сообщества против любого, кто претендует на какое-либо самостоятельное достижение (а не анализ тонкостей в философии западной традиции), является рассказ из кэрролловской «Алисы в Зазеркалье»: каждый раз Белый Рыцарь, вновь попав впросак или сморозив глупость, повторял: «Это мое собственное изобретение!»

На пленарном заседании Российского философского конгресса, проходившего в 2009 г. как раз в нашем Академгородке, выступали новосибирские и томские «провинциалы» — приверженцы аналитической философии (они же являются переводчиками классических и современных «столичных» трудов в этой области), тогда как подавляющая часть собравшихся на конгресс философов были «туземцами», что и вызвало вполне предсказуемое возмущение зала, стало сквозным конфликтом на протяжении всех дней конгресса.

3

По понятным причинам «столичные» ученые, интересующиеся Россией, прислушиваются к нашим лингвистам-русистам, ведущим здесь исследования историкам, социологам, политологам и экономистам, к проводящим здесь раскопки археологам. Возможно, я чего-то не заметил, но не смогу назвать никого из соотечественников, сколько-нибудь приближающегося к мировому научному престижу (сохраняющемуся до сих пор) экономистов Чаянова и Кондратьева, психологов Выготского и Лурии, филологов Проппа, Бахтина, Шкловского и Якобсона. В близкой мне области перевели на английский вполне макросоциологическую книгу «Пути истории» (не о России!) историка-востоковеда Игоря Дьяконова [Дьяконов 1994], даже дают ее читать студентам в некоторых американских университетах. Иногда в «столичных» журналах вдруг появляются статьи из России, но обычно без отклика и без последствий. Так что, по большому счету, хвастать нечем.

4

Обе хуже, см. ниже.

5

Можно найти. Надо искать. Сам давно ишу. Что нашел — тем здесь и поделюсь.

Чтобы найти верный выход, надо ответить на вопросы:

- Где мы оказались и почему?
- Каковы причины нашей ограниченности «туземством» и «провинциализмом»?
- Почему нет плодотворного самостоятельного развития научного творчества, которое получало бы в мире достойное признание?

Чтобы заново не отвечать, по доброй «туземной» традиции себя и процитирую:

«Каковы же причины интеллектуальной стагнации? Разделим их на внешние, относящиеся к социальному бытию самих интеллектуальных сообществ и их окружения, и внутренние, относящиеся к образу мыслей, ментальным стереотипам, установкам и предубеждениям, “слепым пятнам” сознания и проч. (Если угодно, можно сопоставить внешние и внутренние причины с достопамятными “социальными и гносеологическими корнями”).»

Многие внешние причины широко известны и проговорены, в том числе участниками проекта “Мыслящая Россия”:

- инерция советской системы организации науки;
- захват ключевых позиций академической номенклатурой, заинтересованной лишь в сохранении своего положения;
- отсутствие систематических дискуссий между разными позициями и школами;
- слабость или отсутствие реального взаимодействия между фундаментальными исследованиями и прикладными разработками;
- отрыв исследований (в НИИ) от преподавания (в университетах);
- сугубо инструментальное отношение власти к социальным исследованиям (“если не пиар нам, то секвестр вам”);
- “партийность” и низкопоклонство научных журналов (своим и начальству — “зеленая дорога”, чужим и безвестным проникнуть весьма трудно, беспристрастное рецензирование — редкость) и т.д.

Остаются актуальными более глубокие, неявные причины:

- сохраняющаяся система дисциплинарного финансирования исследований, препятствующая межнаучной кооперации;
- господствующая система оценки научного труда, стимулирующая регулярные публикации (на основе мелких исследований или вовсе при отсутствии таковых) и не стимулирующая долговременные, трудозатратные штудии;
- устойчивое взаимное равнодушие российских исследователей, в результате чего новые идеи и направления не поддерживаются, не получают отклика и гаснут;
- общая заниженность стандартов научной квалификации (особенно в провинции) и т.д.».

Далее в той же статье о «(Не)мыслящей России» говорится об эффектах все той же «провинциальной» науки, но в аспекте «смыывания» собственных ростков культурного капитала:

«Речь сейчас нужно вести не об утере ранее накопленных достижений (это было верно для обрыва традиции после “философского парохода” и “великого перелома” конца 1920-х гг.), а о том, что *в сегодняшней России культурный капитал в социальных науках и философии практически перестал накапливаться*. Каждая новая волна интеллектуальной моды (из тех же США, Франции и Германии) почти полностью смыывает предыдущие волны и обесценивает ростки самостоятельных исследований. Постструктурализм, постмодернизм, социальный конструктивизм, анализ случаев, дискурс-анализ захватывают умы, дискредитируя прежние подходы. Разумеется, кроме широких сменяющих друг друга волн, есть также параллельное одновременное влияние разных европейских и американских школ мысли на отдельные российские центры, но здесь глухота к прошлому оборачивается глухотой к чужакам.

Комментаторское поклонение классике, ярко выраженное в советскую эпоху по отношению к “классикам марксизма-ленинизма”, теперь сменилось *комментаторством по отношению к новым модным зарубежным книгам и веяниям*. Что встречается редко, так это чрезмерное внимание к техническим деталям. До этой фазы отечественные гуманитарии обычно не успевают дойти, поскольку их захлестывает новая волна интеллектуальной моды» [Розов 2007].

В той же статье я сосредоточился на одном содержательном моменте, названном «антитеоретическим консенсусом». Речь

шла о дружном неприятии как «туземцами», так и большинством «провинциалов» эмпирически подкрепленного теоретического знания, что издавна поддерживается сохраняющимися симпатиями к релятивизму и агностицизму Т. Куна, цивилизационному подходу А. Тойнби. Дело в том, что автор «Структуры научных революций» [Кун 1977] и автор «Постижения истории» [Тойнби 1991] не только «столично знамениты» (что мило «провинциалам»), но и утвердили несоизмеримость «парадигм», несводимость друг к другу «цивилизаций» (что в полной мере оправдывает интеллектуальный изоляционизм «туземцев»).

Результат таков:

«Чего нет в наших социальных науках (за весьма редкими исключениями), так это настойчивой воли к формулированию и проверке теоретических гипотез на основе эмпирических сравнений, обобщений и опоры на уже имеющееся теоретическое знание. Антитеоретический консенсус — лучшее самооправдание отсутствия интеллектуального творчества и лени мысли» [Розов 2007].

Главными заменителями требуемой эмпирической и теоретической работы среди историков и социальных исследователей являются «*радость узнавания*» (когда «провинциалам» в местном материале удастся обнаружить реалии, подходящие новым, модным и активно обсуждаемым понятиям в западной науке) и «*разоблачение неадекватности*» (привычные сетования и «провинциалов», и «туземцев» на то, что западные понятия, в том числе классические и широко используемые, не имеют прямых или вообще каких-либо денотатов в российской действительности).

Далее в той же статье указаны известные требуемые компоненты продуктивного теоретического подхода (см. также: [Stinchcombe 1987]):

- познавательная цель, направленная на исследование общих закономерностей, причин и механизмов динамики изменения явлений;
- систематическое эмпирическое исследование разнообразия случаев динамики с целью выявления инвариантов;
- опора в осмыслении выявленных инвариантов на теоретические результаты прошлых исследований (часто чужих и отдаленных);
- формулирование общих гипотез, поддающихся операционализации;

- сопоставление случаев с различными значениями заданных параметров и последующие выводы относительно гипотезы;
- проверка эмпирической подкрепленности гипотезы другими исследователями на другом материале, при положительном результате — пополнение (аккумуляция) общепризнанных теоретических положений.

Буквально каждый из этих компонентов оказывается крайне проблематичным в сфере социальных исследований вообще, а в современной России в особенности. Эти детали я здесь опускаю и приведу только «рецепт излечения», который мне виделся в 2006–2007 гг.:

«Нравится нам или нет, но геокультурные зоны интеллектуального престижа [“научные столицы” по Соколову и Титаеву] лежат вовне России — на Западе. С этой реальностью приходится считаться, более того, нужно знание данного факта использовать. Важное следствие: российские исследователи и исследования получают наибольший престиж на родине, будучи признаны на Западе.

Прорвать антитеоретический консенсус нельзя методологической полемикой, но можно — высоким престижем теоретических работ. Чтобы такие работы были поняты и признаны на Западе, они должны трактовать (развивать, обогащать, либо опровергать) признанные и наиболее активно обсуждаемые западные же теории и модели.

Первой практической задачей становится составление перечней теоретических положений в каждой предметной области для эмпирической проверки (излюбленную нами методологическую и чисто теоретическую критику, увы, мало ценят). В свое время я предпринимал попытку составить такой перечень взаимосвязанных положений для микро-, мезо- и макро-социологии [Розов 2001], но понимаю, что это лишь первый небольшой шаг в требуемом направлении.

Далее “дело за малым”: начать и кончить теоретико-эмпирическое исследование, в результатах которого должны содержаться сильные и подкрепленные данными утверждения относительно известных в соответствующей западной науке теорий и моделей, затем приложить большие усилия для публикации результатов в наиболее авторитетных отечественных и, главное, западных журналах, добиваться включения своих идей и результатов в западные дискуссии, после этого — пропагандировать и расширять такого рода исследования в России, привлекать молодежь.

Трудно? Очень. Но без этих усилий можно смело прогнозировать, что даже редкие появляющиеся в России исследования не получают резонанса, авторы их уедут за рубеж или уйдут из науки, антитеоретический консенсус будет, как и сегодня, править умами, интеллектуальная стагнация продолжится. Тогда последующие “раунды рефлексии” относительно интеллигенции и интеллектуалов, последующие проекты по “мыслящей России” будут по-прежнему фиксировать тотальный дефицит творческой мысли» [Розов 2007].

Как мы видим по статье М. Соколова и К. Титаева, ситуация остается прежней, даже нарастает чувство безысходности, обреченности.

Наряду с осознанием причин следует систематически изучить «истории успеха» — случаи прорыва изначально периферийных областей в центр, приобретение одиночками или группами «провинциалов» столичной значимости. Соколов и Титаев уже указали на казус прорыва социологии Чикагского университета на мировой уровень. Выше были отмечены имена российских экономистов, филологов, психологов, получивших долговременную интеллектуальную репутацию мирового уровня. Выборку вполне можно расширить за счет математики и естествознания (Лобачевский, Менделеев, Павлов, Бехтерев, Ухтомский, Ландау, Капица, Канторович, Мальцев, Перельман), а также за счет стран Центральной и Восточной Европы, Скандинавии (например, Венский кружок, Львовско-Варшавская и Финская школы в логике, в философии науки). Следовало бы провести систематическое исследование по методу единственного сходства Бэкона-Милля, но некоторые факторы успеха «прорывов к интеллектуальной столичности» лежат на поверхности:

- обучаться или стажироваться в «столице», провести там первые исследования, наладить связи с лучшими специалистами в своей области, потом вернуться на родину, широко развернуть научную работу по заимствованным образцам, сообщать о ней в «столицу»;
- проводить на родине регулярные семинары, где совмещается систематический обзор новейших «столичных» идей и достижений с неременным представлением местных исследований, сделанных в том же ключе, но не вторичных, а направленных на прямую конкуренцию и новацию;
- совмещать упорные попытки прорваться в «столичные» издания с учреждением своих журналов и книжных серий, в которых совмещать переводы новейших работ

и обзоры достижений из «столиц» с результатами местных исследований, выполненных по «столичным» стандартам и отвечающих на те же проблемы и темы;

- накапливать собственный арсенал подходов, идей, понятий, теорий, превращая его в конкурентное преимущество при решении передового фронта проблем (который обычно задается в «столицах»);
- освоив главные «столичные» достижения, смело браться за самые трудные проблемы, заявлять о новых проблемных областях и «глубоких затруднениях» [Коллинз 2002], тем самым вовлекая «столичных» коллег в «игру на своем поле».

Отдельно следует сказать о таком тривиальном параметре и факторе успеха, как *качество научной работы*. Соколов и Титаев избегают явного обсуждения этой темы, рассматривая только аспекты новизны / вторичности, потешаясь над идейным паноптикумом «туземной науки». Тема действительно непростая, хотя бы потому, что параметры качества научной «реплики» (статьи, книги, отчета) существенно разнятся в различных областях знания и сильно меняются со временем.

Однако имеются общие характеристики высокого научного качества, некоторые из них уже упоминались выше: новизна общих, эмпирически подкрепленных, теоретических суждений, релевантность темы проблемам переднего фронта, использование для известных проблем специфических, ранее не применявшихся подходов, в идеале — обнаружение новых областей «глубоких затруднений».

В плане социологии науки и метафоры беседы качество полученного результата должно быть таким, чтобы в «столицах» задающие «повестку дня» референтные лидеры эту «реплику» слышали, а «рассказчика» хотели бы слушать еще. Что этому способствует не в предметных терминах той или иной дисциплины, а в плане собственных интеллектуальных и репутационных интересов самих этих лидеров? Новая, поступившая с периферии научного мира «реплика» (например, научная статья) должна для этого обладать каким-то из следующих свойств:

- добавление серьезного эмпирического (или архисерьезного теоретического) *аргумента в ведущемся «горячем» споре*; тот лидер (научный лагерь, фракция, «банда»), чья позиция усиливается, непременно ухватится за этот козырь, тогда как оппонирующий ему лидер (лагерь)

вынужден будет преодолевать возражение по существу, а значит, «реплика» будет услышана;

- предоставление *удобного для использования подхода* (средства, модели, понятийной конструкции, группы терминов), позволяющего «столичным» ученым более эффективно получать, осмысливать, представлять новые результаты;
- постановка такой новой проблемы, которая, с одной стороны, *обещает* ведущим «столичным» лидерам и фракциям успешное и внушительное решение, соответственный подъем собственной репутации, с другой стороны, *скрывает «подводные камни», быстро не решается*, ведет к спектру разнообразных попыток и новым, ранее не видимым проблемам; в идеале такая проблема может стать *«глубоким затруднением»*, требующим больших и разнообразных усилий в течение десятилетий или даже многих поколений исследователей (см. также о причинах долговременной значимости философских проблем: [Розов 2002a]).

Теперь представим в качестве «идеального типа» ту периферийную науку, которая хотя бы пытается реализовать сформулированные требования. В ней есть черты «провинциальной» науки (постоянное напряженное внимание к тому, что делается в «столицах», попытки быть там «услышанными») и «туземной» науки (большие амбиции, смелое прокладывание собственного пути, пестование своих национальных школ, изобретение собственных методов, подходов, понятий, терминологии). Ясно, однако, что это некий иной тип, требующий своего отдельного обозначения.

Наиболее адекватно смотрится, увы, английский вариант (реверанс «провинциалам») — “the challenging science”. Перевести это можно как «наука, бросающая вызов» (этот пафос должен понравиться «туземцам»), «наука вызова», «вызывающая наука», «претендующая наука», «наука-претендент» (по аналогии с «державой-претендентом» — моим вариантом перевода “challenger” в геополитике). Посмотрим, какой термин приживется и приживется ли вообще (а не окажется мертворожденным за отсутствием денотата в России).

Стратегически примерно понятно, *что делать* бросающей вызов «столицам» науке-претенденту (см. выше). Важно, что обращаюсь я, в первую очередь, отнюдь не к государству, его распределяющим и контролирующим органам, а к самим ученым и научным сообществам, которых не устраивает ни

«провинциальность», ни «туземность», которые не желают эмигрировать в «столицы», а сами намерены обрести «столичный» статус, по крайней мере продвинуться в этом направлении. Пропустим конфликтный, но бесплодный вопрос «кто виноват?» и перейдем к не менее сакраментальному «с чего начать?»

Первое — это, конечно же, направленность на обеспечение максимально широкого доступа к текущей «столичной» периодике (наличие западных журналов в местных научных библиотеках) и доступа к электронным публикациям; установление собственных внутренних высоких стандартов (не дожидаясь принудительных норм со стороны ВАКа, Академии наук или Минобра) на знакомство с литературой и оригинальность собственного вклада в решение «горячих» проблем, обсуждаемых в «столицах»; получение поддержки от собственного начальства, например в рамках кампании за места институций в мировых рейтингах.

Второе — формирование исследовательских групп с вовлечением талантливой молодежи со знанием языков и амбициями, регулярные семинары, по возможности — стажировки в «столицах», планирование и проведение исследований в связи с горячими «столичными» проблемами, но на основе каких-то собственных конкурентных преимуществ; упорные попытки публиковать результаты в западных журналах.

Третье — активный поиск авторитетных коллег в «столицах», которые могли бы заинтересоваться проводимыми здесь исследованиями, обязательно личное знакомство с ними (теоретические основания см. в книге: [Коллинз 2002]), создание коалиций и выстраивание дальнейших стратегий собственного продвижения к «столичности» в науке.

В итоге: вместо того чтобы иронизировать над собственной «провинциальностью», надсмехаться над вечно обиженными «туземцами», нужно поднять флаг пока не существующего движения *российской науки-претендента*, науки, которая не пресмыкается перед западными «столицами», не отгораживается от них, а *бросает им вызов*.

Библиография

- Дьяконов И. Пути истории. М.: Восточная литература, 1994.
- Война и геополитика. Новосибирск: НГУ, 2003. (Альманах «Время мира». Вып. 3).
- Время мира. Вып. 1. Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск: НГУ, 2000.

- Коллинз Р.* Золотой век исторической макросоциологии // *Время мира*. Новосибирск: НГУ, 2000. Вып. 1. С. 72–89.
- Коллинз Р.* Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002.
- Кун Т.* Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.
- Розов Н.С.* Номологический синтез теоретических знаний об истории ~ культуре (проект интеллектуальной стратегии). СПб., 2001. С. 75–98. <<http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/fti/fti8.htm>>.
- Розов Н.С.* Причины долговременной значимости философских проблем: что делает философскую проблему великой? // *Макродинамика*. Новосибирск: Наука, 2002а. С. 5–21. <<http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/philos-prob.htm>>.
- Розов Н.С.* От каких печек пляшем? (К вопросу о центре интеллектуального внимания и противостоящих позициях в российской философии начала XXI века) // *Вестник Российского философского общества*. 2002б. № 1. С. 80–81. <<http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/pechka.htm>>.
- Розов Н.С.* (Не)мыслящая Россия. Антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации // *Прогнозис*. 2007. № 3. С. 284–303. <<http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/nonthinking.htm>>.
- Структуры истории. Новосибирск: НГУ, 2001. (Альманах «Время мира». Вып. 2).
- Тойнби А.* Постигание истории. М.: Прогресс, 1991.
- Stinchcombe A.* Constructing Social Theories (1968). Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1987.

ЕВГЕНИЯ РОМАНОВА

1

На мой взгляд, предложенные определения очень верно называют соответствующие явления в отечественной лингвистике. Стоит начать с того, что большая часть людей, работающих в этой области, не вполне отдает себе отчет в существовании различных подходов к описанию языка, к тому, что от выбора подхода зависят и методология, и вопросы, которые человек перед собой ставит, и гипотезы, и результаты.

В так называемой «столичной» науке делается четкое разграничение между функциональными и формальными направлениями. основополагающие принципы этих

Евгения Евгеньевна Романова
НОУ ВПО «Институт
международных связей» /
Уральский федеральный
университет,
Екатеринбург
evgeniya.romanova@icloud.com

подходов почти непримиримы, хотя бывают нечастые исключения. Во-первых, в функциональных подходах язык представляется важным средством коммуникации и изучается исключительно с позиций его функционирования в речи. Как следствие, они ограничиваются «описательной» и «предсказательной адекватностью» и не ставят перед собой задачи разобраться в глубинных биологических механизмах, лежащих в основе языковой компетенции. Формальные подходы обычно идут дальше. Язык для них — генетически предопределенная способность человека, отсутствующая у других представителей животного царства. При этом замечается, что коммуникация и язык далеко не всегда пересекаются. Животные могут общаться друг с другом, не обладая способностью к усвоению языка, люди же далеко не всегда используют язык для общения. Языковая способность человека напрямую связана с определенными участками мозга и так же зависима / независима от других участков, как, например, способность к зрительному восприятию. Формальные подходы, таким образом, нацелены на «экспланаторную адекватность».

Некоторые могут заметить, что такие функциональные теории, как когнитивная лингвистика, так же фокусируют внимание на изучении мыслительных процессов, лежащих в основе языка, как и формальная генеративная лингвистика. Однако что именно изучает каждое из направлений и как оно это делает, радикально отличается. Например, в когнитивной лингвистике основываются на том, что семантика слова раскрывает целый пласт знаний и представлений человека, она энциклопедична по своей сути. В генеративной грамматике семантика слова интересна постольку, поскольку слово участвует в образовании синтаксических связей с другими элементами в процессе порождения высказывания, и потому не связана с энциклопедическими знаниями человека. Для функционалистов синтаксис движим семантикой, грамматики без значения не существует, значение — король языка. В генеративизме синтаксис, семантика и фонетика — три разных модуля, связанных друг с другом только на интерфейсах.

Разным будет и отношение к усвоению языка. В генеративизме грамматические конструкции считаются врожденными, и ребенку их не нужно учить, дети — и очень быстро — «настраиваются» на языковую среду. В когнитивизме язык представляет собой набор мыслительных операций общего характера, из чего следует, что ребенок обучается языку точно так же, как и другим навыкам. Серьезные исследования идут именно в этой области в обоих направлениях, поскольку их выводы могут подтвердить или опровергнуть выдвигаемые в них гипотезы.

тезы — об универсальной грамматике, с одной стороны, и об общекогнитивной природе языка, с другой.

Кстати, генеративная грамматика остается мейнстримом в Соединенных Штатах и во многих университетах Европы. В России же ей занимается около десятка человек в Москве и Санкт-Петербурге, и они, будучи в меньшинстве, настоящие подвижники. Многие же их студенты уже давно находятся в лучших учебных заведениях зарубежья.

В России большую популярность в последнее время получило как раз когнитивное языкознание, видимо потому, что его становление совпало по времени с появлением «новой» России — без железного занавеса. У нас написано огромное количество пособий по данному направлению, множество не только московских, но и провинциальных лингвистов исповедует когнитивизм, но даже это свежее веяние с Запада часто носит искаженный характер.

2

В «туземной» лингвистике принято держаться за окаменевшие авторитеты, и всё, что отклоняется от написанного ими 70–100 лет назад, считается ересью или недостоверными фактами. В провинциальной лингвистике относительно новое когнитивное направление так же популярно, как на Западе, но оно принимает причудливые формы. Например, насколько я знаю, множество диссертаций и дипломных работ посвящается рассмотрению когнитивной метафоры через фреймо-слотовый анализ, но это делается настолько наивно, что и третьеклассник бы справился, а главное — непонятно, зачем это нужно. Одна из целей напрямую связана с языковым детерминизмом: доказать, что картины мира двух народов отличаются друг от друга. Это разнится с идеей, лежащей в основе когнитивной грамматики, которая возникла как реакция на распространение генеративизма с его языковым геном и универсальной грамматикой. Кроме того, одного из основоположников фреймовой семантики — Чарльза Филлмора — в наших работах упоминают редко (я ни разу не видела). Его же теория основывалась и на смысловой связи слов одного семантического поля, и на их различном поведении в синтаксических структурах. Всё это где-то потеряно, и теория живет независимо от автора, а перенимается у писавших об этом ранее соотечественников.

Развитие синтаксических (грамматических) теорий в наших широтах, по-моему, заморожено. Мы застряли на «древних» учениях о главных и второстепенных членах предложения, а также на актуальном членении предложения, разработанном еще в середине XX в. в Пражском лингвистическом кружке. Какие там move alpha, острова именной группы, эффект кры-

слова, ограничения на передвижения вершины! Лишь немногочисленные представители генеративного направления, работающие в России, знают, что это такое; подавляющее же большинство наших языковедов знают о хомскианской лингвистике по работам 1957 и 1965 гг. и до сих пор считают, что она сводится к описанию поверхностной и глубинной структуры.

Кроме того, у нас совершенно отсутствует такая важная ветвь лингвистики, как фонология (если это не так и кто-то знает это наверняка и переубедит меня, я буду очень рада). Я нигде не видела исследований по усвоению языка. В принципе они и ни к чему, ведь целью нашей науки не является установление истинной природы языка.

Возвращаясь к представителям туземной и провинциальной науки. Первые кажутся более образованными и начитанными, хотя и менее гибкими и восприимчивыми к новому, в то время как у вторых при владении новой терминологией общей теоретической картины о языке не сложилось. Сужу по молодым кандидатам наук, которые пишут свои диссертации достаточно быстро, часто из-под палки и изнывая от скуки.

Вероятно, такая ситуация возникла в связи с тем, как и чему обучаются студенты языковых вузов и факультетов. Госстандарт требует использования морально устаревших учебников по теоретическим дисциплинам, которые с точки зрения современного состояния лингвистики не выдерживают никакой критики. Более того, они написаны русскоязычными авторами на английском языке и нашпигованы несуществующими терминами, зачастую созданными самими авторами и больше нигде и никем не используемыми.

Разобщенность — особое свойство нашей туземной лингвистики. Какой-нибудь крупный ученый придумывает что-нибудь «новое», и все его студенты и аспиранты обязаны исповедовать именно это. Другой крупный ученый будет гордо создавать свое, не критично отмахнувшись от чужого как в корне неверного. А новое в лингвистике создавать — раз плюнуть. Поменял слова местами, составил красивое словосочетание («метафорическая экспансия») — и готово целое направление. Например, один из местных светил считается основоположником новой «науки» — политической лингвистики. Новым в этой науке является то, что рассматриваемые метафоры относятся исключительно к политическому дискурсу. Как сказал один мой коллега, профессор, «мы же что угодно можем творить, это же лингвистика». При этом по-настоящему новые для нас идеи даже не приветствуются, потому что, по словам другой моей коллеги, тоже кандидата наук, «что может в языкознании измениться? Ведь язык с его правилами всё тот же».

Особое слово хотелось бы сказать о плагиате. В провинциальной науке он встречается сплошь и рядом. Зачем писать что-то от себя о предмете метафоры, когда до тебя уже тысячи человек об этом написали? И их работы висят в Интернете? Это уже и не плагиат. Это не имеет названия.

Конференции чаще всего проводятся «для галочки». Темы всегда достаточно обширны, работает по 15 секций, одинаково заунывных. А потом публикуются сборники с солянкой тезисов.

Для публикаций есть журналы с неопределенной тематикой: там о разном — от методологии преподавания английского языка в школе до сравнения картин мира русских и американцев на примере их телодвижений. Может быть, есть у нас узкоспециальные журналы, но я о них, к сожалению, не знаю.

Статей в отечественной лингвистике пишется много, для проформы и отчетности, и объем их обычно не превышает 10 страниц, потому что за них нужно платить. Не знаю, стоило ли это упоминать, но это тоже радикально отличается от того, как делается мировая наука. Там, если ты пишешь дельное, конкурентоспособное, доказательное, понятное коллегам, — пожалуйста, лучшие журналы к твоим услугам. Бесплатно. Или, если выросла целая книга, лучшие издательства. Только работы твои будут досконально изучены и отредактированы профессионалами, высланы тебе на доделку и опубликованы только после очень долгого и серьезного доведения их до нужного уровня. У нас же можно печатать всё. Никто же не читает. У нас, кажется, нет профессионального сообщества, заботящегося о развитии своей области науки.

В российских диссертациях и дипломных работах нужным уровнем, между тем, считается правильное оформление: обязательное перечисление предмета исследования, научной новизны и теоретической значимости работы, определенное количество источников, определенные имена в списке литературы. Кроме того, каждая такая работа должна включать цифры: количество исследованных единиц одного плана, другого плана, их процентное соотношение. Без этого работа не может считаться научной. Всё это нужно, видимо, потому, что, имея возможность придирается к оформлению и подсчетам, проверяющие могут саму работу вовсе не читать. Да и кому они, эти работы, нужны? Только самим будущим кандидатам.

3

Я могу судить только о языкознании и то обладаю достаточно ограниченной информацией, поэтому на данный вопрос мой ответ будет кратким.

Туземность нашей лингвистики способствовала развитию такой ее области, как фразеология (в то время как на Западе почти не проводилось исследований на эту тему), поэтому теперь она автоматически находится на мировом уровне. Еще одно направление, скорее провинциальное, которое неплохо вливается в струю мировых исследований, — это переводоведение.

Кроме того, есть действительно нетуземные и непровинциальные лингвисты в столицах: уже упомянутые мной генеративисты и небольшое число когнитивистов, широко известных за рубежом.

4

Провинциальную можно растряссти, она, кажется, более легко принимает разные точки зрения, но для этого ее представителей все-таки лучше отправлять за границу. Туземная уж очень замкнута в своем мире. При этом она более убедительна, ведь именно туземная наука в свое время удивила иностранных лингвистов глубиной и тщательностью проработки предмета фразеологии. Просто туземной науки остается все меньше.

5

Третий путь в основном лежит прочь из этой периферии. Когда у представителей провинциальной науки возникает возможность заняться действительно серьезными исследованиями, некоторые из них ею пользуются, уезжают и там превращаются в часть мирового научного сообщества. Мне кажется, это единственный выход. Когда ситуация изменится и появятся условия для развития языкознания в России, будет кому этим заняться. Я уверена, что тогда кто-то да вернется. В том числе из внутренней эмиграции. И только тогда можно будет воспитывать новых молодых ученых мирового уровня.

А пока ситуация такова, что изображать бурную деятельность здесь намного легче, чем делать что-то серьезное где-то еще. Это привлекает в аспирантуру людей, лингвистикой не интересующихся вовсе. Они просто плывут по течению и приплывают к степеням без особых умственных затрат. И продолжают воспроизводить ненужное и неинтересное для сохранения внешних наукоподобных признаков специальных кафедр и факультетов.

В любом случае, третий путь исключает инерцию и леность ума, являющиеся центральными характеристиками провинциальной (в большей степени) и туземной науки. Но где он пролегает — если не рассматривать мое предложение о принудительной высылке ученых на зарубежные стажировки — я не имею представления.

Чтобы не казалось, что я слишком высокомерно сужу о других, должна сказать, что я сама, вернувшись со своим PhD из-за границы уже шесть лет назад, очень быстро превращаюсь

в представителя «провинциальной» науки. То, что я делаю, преподавая в нестоличном частном вузе, требует от меня процентов 20 от того напряжения мозга, которое необходимо для занятия настоящей наукой мирового уровня. Вряд ли ситуация была бы иной в государственном вузе (я работала в одном из них до отъезда на учебу за границу и даже недолго была соискателем). Я знаю, что так не должно быть, но я не знаю, как можно сделать иначе. Надеюсь, что на приглашение к дискуссии откликнутся и другие лингвисты и опишут более объективную картину.

ВЛАДИМИР РЫЖКОВСКИЙ

1

История является достаточно специфичной областью знания. Ее зарождение и легитимация в качестве научной дисциплины (в отличие от той же социологии, политических наук и т.д.) было напрямую связано с «эпохой государственных и негосударственных национализмов». Конечно, истории могут интернационально объединяться по интересам (квир, субалтерн, гендер, экономика и т.д.), редакторские предисловия будут славить транснешнл и трансферы, тем не менее национальный кадр был и остается главной аналитической рамкой, организующей дисциплину интеллектуально и институционально. Объявление конкурса на занятие кафедры по истории Франции или Германии воспринимается как обычная повседневная рутина, тогда как объявление конкурса на позицию по социологии Франции или США выглядело бы как курьез. В результате «историческая наука» распадается на энное количество дискуссий по национальным историографиям, так что именно Германия оказывается центром для тех, кто занимается историей Германии, а Франция — центром для тех, кто занимается историей Франции и т.д. В рамках же самих национальных историографий что есть столица, а что есть провинция будет иметь особую национально окрашенную и исторически обусловленную конфигурацию.

**Владимир Вячеславович
Рыжковский**

Джорджтаунский университет,
США
kukuline85@gmail.com

Тем не менее, несмотря на тот факт, что всякая национальная историография является в некоторой степени вещью в себе, каждая из них маркирует свои локальные проявления «туземщины», однако не через отсылку к некоторой пространственно или институционально закреплённой «столичной науке», но к приличному интеллектуальному стилю «нормальной науки». Овладение набором не слишком требовательных теоретических и риторических конвенций, воплотивших в себе процесс изменения историографии в XX в. (немножко конструктивизма, немножко критики эссенциализма, немножко дистанции по отношению к национальному нарративу и, конечно, много добротного архивного эмпиризма), в рамках национальных историографий даёт ощущение причастности к достаточно виртуальному международному сообществу историков и позволяет отличить приличного космополитичного историка от устаревшего национального историографа или туземного собирателя древностей.

Схема с «провинциальной», «столичной» и «туземной» наукой едва ли может быть универсально применима ко всем национальным историографиям, однако в случае с постсоветской российской историографией она вполне может быть использована. Факт, имеющий под собой исторические основания. Более того, чтобы понять, какие институциональные и поведенческие формы принимают провинциальная и туземная науки в рамках российской историографии, понадобится экскурс не только в историю сообщества советских (российских) историков, но и русистов Запада (в основном США).

2

В годы «холодной войны» в СССР имела своя собственная «нормальная» историческая наука, основывавшаяся, по крайней мере по своим формальным признакам, на марксизме-ленинизме и противопоставлявшая себя науке «буржуазной». Здесь воспроизводились собственные стандарты «приличного» и «неприличного», структурировались своя «столица» (Москва — Питер) и «провинциальность». В рамках этой консервативной академической системы (окончательно сложившейся в послесталинские годы) вполне легитимными были и вкрапления не менее консервативного «знаточества» (позитивистский культ источника, источниковедение, палеография и т.д.), имевшего свои провинциальные и столичные формы. Гораздо большей экзотикой являлись примеры «провинциальной» (медиевистика в исполнении А.Я. Гуревича, Л.М. Баткина, легитимировавшая себя путем отсылок к стандартам «нормальной» исторической науки на Западе) и «туземной» (например, теории Л.Н. Гумилева) науки в определении редакторов. И та, и другая противопоставляли себя официальной советской «нормальной» науке и требовали от

практиковавших ее историков интеллектуальной и личной смелости.

Для западных русистов, которые с гораздо большей свободой выбирали темы для исследований, особенно по наиболее чувствительным событиям XX в. (революция, Гражданская война, репрессии), советская историческая наука представлялась безусловно «идеологичной», «ненормальной», что по определению препятствовало ее превращению в центр для изучающих историю России. В свою очередь, мощный государственный заказ на изучение главного врага по «холодной войне», помноженный на сложности с доступом к источникам (находившимся по большей части в СССР), делал западную русистику интеллектуально достаточно вялой и периферийной по отношению к основному методологическому мейнстриму западной академии.

Распад советской академической системы после 1991 г. привел и исчезновению общего методологического стандарта «нормальной советской науки», разрыву внутриакадемических связей и наполнению понятий «столица» и «провинция» новым содержанием. Избавившись от контроля со стороны отдела науки ЦК, многие историки из российской провинции поспешили запустить собственные «туземные» дискурсы. При этом особый спрос имелся на фантастическую теоретическую историю, историографию, методологию, а 1990-е дали множество свидетельств зарождения локальных карго-культов и традиций, которые могли не выходить за пределы кафедры или факультета.

В столицах же «знаточеский» и позитивистский консерватизм, недоверчивый к любому теоретизированию и эксплуатировавший отныне дискурс «русских историографических традиций», вошел в реакцию с институционально неизменной советской академической моделью. Именно этот консерватизм оказался академическим мейнстримом, перераспределявшим фактически отсутствовавшие материальные ресурсы и раздававшим степени в 1990-е, в 2000-е гг. пополнившись традиционным легитимирующим историописанием, востребованным новой российской властью, активно использовавшей патриотические темы и щедро отпускавшей на эти цели нефтяные деньги.

Интеллектуальная беспомощность и невежество вкупе с нежеланием и неспособностью хотя бы поверхностно освоить риторику интеллектуального стиля, практиковавшегося в рамках «нормальной» науки на Западе, по определению делали невозможным превращение периферийной и столичной «туземной» исторической науки в центр российской историографии в мировом масштабе. Реакцией на это стало появление у историков своих аналогов грантовых анклавов, где зародилась провинци-

альная наука, миссией которой было провозглашено преодоление отсталости, доставшейся в наследство от советской историографии, через приобщение к принятым на Западе стандартам «нормальной» науки. Не удивительно, что молодые ученые, получавшие степени на Западе или существовавшие на западные гранты, приняли академическую конъюнктуру западной русистики 1990-х, которая как раз пыталась избавиться от печати интеллектуальной вторичности времен «холодной войны» путем ускоренного освоения всевозможной «теории», «саморефлексивности» и «междисциплинарности», за пример такой «нормальности». Именно эти историки (а также центры и институты, связанные с ними), вполне соответствуя определению «провинциалов», производили различия, определяя коллег-консерваторов, патриотов-начальников или периферийных теоретиков-самоучек в качестве представителей «туземной» науки.

С пафосным провозглашением «медведевской модернизации» отдельные островки этой провинциальной исторической науки оказались востребованы нынешней властью в качестве одного из свидетельств «прорыва». Сила самовнушения в данном случае оказалась подкреплена существенными материальными вливаниями. В итоге на институциональном уровне появились причудливые гибриды, имитирующие практики и даже институциональные атрибуты западной науки с одновременным воспроизводством сугубо российских представлений о статусности и престижности. Например, организация интеллектуальных центров модернизации может вылиться в приобретение дорогостоящих зданий в центре столицы или бездумную охоту за обладателями западных докторских степеней, а не в создание нормальной библиотеки, без которой шансы на создание «нормальной» науки стремятся к нулю.

Интеллектуально же провинциальная наука поначалу пыталась имитировать вопросник и даже стилистику западных работ (например, преобладание не характерных для русского языка деепричастий-герундиев в заголовках статей), одновременно импортируя Фуко, Бурдьё, лингвистический поворот, антропологию, историю понятий, исследование наций и национализмов на российскую почву. В 2000-х же, доводя до предела логику западных дискуссий 1990-х, воспринятую в качестве эталонной, некоторые историки-модернизаторы, недовольные положением провинциалов, связали возможность собственного избавления от печати имитативности с интенсификацией теоретического поиска.

Тем не менее, несмотря на все эти попытки и после 20 лет борьбы за преодоление отсталости, российская историческая

наука по-прежнему не является в глазах международного сообщества русистов центром историографических дебатов о русском прошлом. Это находит отражение в списках литературы, которые рекомендуются, например, американским аспирантам (самая многочисленная группа за пределами России) по русской истории — названия на русском включаются в него лишь как полезная экзотика, с которой должен быть знаком эксперт. Однако в отличие от социологии или антропологии специалистам по истории России не из России (которых гораздо больше, чем, скажем, антропологов или социологов) невозможно полностью игнорировать ни туземные, ни провинциальные формы российской историографии.

Западная академия, прежде всего американская, оперирует своим набором образов российской исторической науки. Наиболее удобным является образ русского профессора-историка (уходящий корнями ко времени советско-американских научных обменов 1960–1970-х). Это человек, не претендующий на особую теоретическую изощренность, однако способный исчерпывающе рассказать, в каком фонде архива нужно искать тот или иной материал, безусловно принадлежащий «традиции» (от Ключевского до Зайончковского), но при этом избегающий наиболее одиозных проявлений «туземности» (патриотичности или национализма). В свою очередь, попытки и прожекты российских модернизаторов со стороны западных коллег встречают легкую иронию. Доместикация «русской историографии», культивирование особого почтения к «русским историографическим традициям», заключавшимся в уже упоминавшихся формах «консервативного знаточества», нередко позволяет западным профессорам вести диалог и включать в свое примиряющее ироничное отношение к тому, что происходит в России, даже те формы историографии, которые в рамках внутрироссийских дискуссий (например, патриоты-позитивисты против либералов-конструктивистов) приводили бы к мгновенному интеллектуальному и мировоззренческому конфликту.

Я хотел бы специально подчеркнуть, что в случае с историографией определения и пропорции «провинциальности», «туземности» и «столичности» являются результатом перекрестного отражения и восприятия российского и западного сообществ историков, порой делая саму эту классификацию нерелевантной. Для «туземцев» отношение западных историков к себе абсолютно неинтересно, тогда как ресентимент российских провинциалов по отношению к западной академии может преобразоваться в их глазах в картины зажатости модернизаторов между интеллектуальным империализмом западной метрополии и консерватизмом собственной туземщины. Тем не менее, даже не вступая в полемику по поводу «колониальности»

и «империализма», я думаю, что попытки модернизаторов продолжить теоретическую погоню за западной академией лишь способствуют закреплению за ними статуса провинциальности. И здесь можно перейти к самому главному вопросу о том вкладе, который способны были бы внести провинциальная или туземная наука в развитие научного знания.

3

Пропускаю, так как не могу ничего сказать о социологии, антропологии или литературоведении. По крайней мере, в англосаксонской гуманитаристике влияние российской социологии или антропологии вполне сопоставимо с влиянием российских историков: оно практически не ощущается.

4

К сожалению, при всем желании усмотреть в «туземной» исторической науке в России зачатки нового знания сделать этого не удастся. Аналитически, тематически и концептуально «туземная» наука воспроизводит консервативные стандарты позитивистской историографии, государственного патриотизма и теоретического невежества. А такая гремучая интеллектуальная смесь даже при самом доброжелательном отношении не позволяет надеяться на лучшее.

Проблема же российских модернизаторов заключается в том, что, бросая вызов «империализму» западной академии (в их восприятии нынешней столицы), они ведут интеллектуальную игру, воспроизводя стандарты и конвенции этой же самой академии *in toto*. Они упорно не замечают, что модель, воспринятая ими в качестве «нормальной науки» и ориентированная на непрестанное инкапсулирование теории, находится в кризисе. И наводящая скуку, прилежно воспроизводимая во множестве западных диссертаций риторика сорокалетней давности (акцент на непремственности и важности социального конструктивизма, антиэссенциализма, антителиологичности, компаративизма и т.д.), и размывание стандартов доказательности, и скукоживание историографической полемики к тезисам, заявленным в предисловиях к работам, — все это часть западной «нормальной» науки. Вера же в то, что какая-то еще неизвестная новая теория (а скорее ее метафорическое заимствование историком — историк способен лишь метафорично использовать методы, практически доступные антропологам и социологам — начиная от насыщенного описания, заканчивая имитациями латуровских лабораторных исследований и поиска материальности) позволит преодолеть все еще неразрешенные онтологические апории, отдаст неизбыточной провинциальностью. Безусловно, фаза ориентации на теорию и имитации других социальных наук значительно обогатила историческую науку, но одновременно притупила осознание специфики и изменчивости исторического знания.

Меньший аналитический ригоризм, внимание к литературности делает историю особой интеллектуальной формой, позволяющей с вниманием к деталям, тонкостям, переливам прошлого демонстрировать сложную генеалогию настоящего, а также выражать и формулировать вопросы настоящего посредством анализа прошлого. По определению не претендуя на открытие теоретических истин (ср. замечания известного британского историка Питера Берка о том, что в XX в. история пополнила копилку социальных наук лишь двумя понятиями — «моральная экономика» и «изобретение традиции»), историки ориентируются на демонстрацию новых конфигураций прошлого, пересобираемого исходя из настоящего. Теория, очерчивающая мейнстрим в других социальных дисциплинах, в истории лишь поддерживает горение постоянного пересобираения, помогает сделать множественные субъективные перспективы (национальные, социальные, гендерные и т.д.) понятными как самому историку, так и тем, к кому он обращается, но не становится самоцелью. В этом плане характерно, что при впечатляющей и столь интенсивной теоретической разминке российские модернизаторы гораздо скромнее демонстрируют свои навыки в интеллектуальном забеге.

Безусловно, институциональная структура богатых академий с их рутинным воспроизводством дискуссий, меняющейся интеллектуальной модой (определяющей ротацию занимаемых профессорских кафедр), а также постоянным спросом социальных и государственных элит именно на такую форму производства знания делает маловероятным кардинальное изменение принципов тематической и концептуальной организации дисциплины (или национальных историографий) и распределения средств разного рода фондами. Однако при всем при этом новое знание и в рамках этой системы сейчас рождается не в последнюю очередь как проявление идиосинкразического выбора историка, его способности преобразовать собственный опыт, окружение, эмоции с помощью доступных аналитических и литературных средств в новые образы прошлого. И в этом плане было бы странно ожидать одинаковых вопросов от историков в Москве, Париже или Нью-Йорке.

В начале 2010-х мышление международными повестками дня (провинциалы сказали бы «аджендами») и попытка имитации столичной дискуссии (при отсутствии всех прочих материальных и институциональных условий, которые бы сделали ее возможной), безусловно, создает у историков-провинциалов ощущение причастности к мировой науке, одновременно лишая их того субъективного перспективизма, который позволил не столько сказать нечто «лучше», сколько «иначе». В многообразии этого «иначе» (количественно значительно превосхо-

дящего предложенные редакторами варианты периферийности, столичности или некоего «третьего» пути) и заключается главное своеобразие исторической науки.

В этом плане, мне кажется, «провинциалам» было бы небесполезно вновь увидеть в себе и вокруг себя «туземность» (у каждого историка она будет связана со всей совокупностью его индивидуального опыта), а затем попытаться перевести чувства, эмоции, идеи, связанные с этим, на общепонятный аналитический язык. При этом чем шире философская, интеллектуальная и теоретическая подготовка историка (условий для получения такой подготовки в России не так уж много — достаточно заглянуть в каталоги РНБ или РГБ), тем более реальны шансы на появление индивидуально яркой исторической работы.

Повторюсь, академическая ситуация не позволяет надеяться на то, что Россия превратится в безоговорочный центр (имеется гораздо больше вариантов для воспроизводства туземной науки) даже по производству русской истории. Однако большее внимание к своему опыту и рефлексия над ним могли бы сулить открытие новых перспектив в изучении собственного прошлого. И история «туземности» и «провинциальности» российской науки сама по себе могла бы стать отличным примером практической реализации такой рефлексии в историческом исследовании.

5

Я отметил уже, почему этот вопрос для истории не вполне адекватен.

ЖАКСЫЛЫК САБИТОВ

Сферой моих научных интересов является история Золотой Орды и постордынских ханств. В основном мой комментарий посвящен ответу на второй вопрос. Здесь стоит отметить, что у истории есть свои особенности, которые отличают ее от других наук.

1. *История как инструмент политики (по-скольку она является основой национальной идентичности).* Посредством создания исторических мифов (упрощенных восприятий неких исторических событий широкими массами) можно оказывать серьезное влияние на политические процессы.

Жаксылык Сабитов

Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева,
Астана, Казахстан
babasan@yandex.ru

Профессиональное знание истории — удел немногих. Монографии по разным периодам истории далеко не всегда являются бестселлерами. С коммерческой точки зрения они мало кому интересны из-за сухого стиля научного изложения, где главным основанием является научная аргументированность и рациональность суждений. В массовой же культуре история предстает в виде каких-либо мифов, стереотипов, даже комиксов. Зачастую история в руках политиков превращается в инструмент, где ее основной целью становится не поиск истины, а формирование информационного бэкграунда, который призван сплотить народ вокруг мифологизированных фигур или событий.

Самым наглядным примером широко растиражированного «мифа» являются события Второй мировой войны. Как известно, в России акцент делается не на всей Второй мировой войне, а только на ее части, которая носит название Великая Отечественная война. Такой акцент позволяет называть Россию жертвой агрессии («вероломное нападение фашистской Германии»), а также позиционировать себя как освободителя Европы от фашистской чумы. Но при этом стоит помнить, что Вторая мировая война началась в сентябре 1939 г. с нападения Германии и чуть позже, спустя полмесяца, СССР на Польшу, раздел Польши произошел в соответствии с Секретным дополнительным протоколом к Договору о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 г.

Если делать акцент на этом событии, то получается, что СССР не является жертвой и его очень трудно назвать «освободителем Европы». Конечно, здесь ярые патриоты СССР могут возразить, обвиняя автора в неуважении к многочисленным жертвам времен Великой Отечественной войны, а также сказать, что СССР отвоевывал территории, занятые Польшей после Первой мировой войны, населенные «родными» украинцами и белорусами. Но при этом игнорирование начала Второй мировой войны при преподавании истории (зачастую многие даже не догадываются, что СССР принимал участие в нападении на Польшу) и акцентирование внимания на Великой Отечественной войне очевидны.

В Казахстане мифы менее изящны. К примеру, во времена независимости появилось произведение Дастан Елимай (так называемый источник XVIII в.), которое на самом деле было написано в 1990-х гг. и является обычным подложным новоделом. Его автором принято считать Кожабергенов. Историки не раз опровергали этот миф [Масанов, Абылхожин, Ерофеева 2007: 166–173], но Институтом истории и этнологии имени Шокана Валиханова (один из главных исторических институ-

тов) проводятся международные научные конференции, посвященные этому тексту и герою.

Другим мифом стал миф о великом Карасай-батыре, жившем в XVII–XVIII вв. До 1991 г. историки были не знакомы с данной исторической личностью. По меркам нашего времени, Карасай-батыра можно назвать лейтенантом, максимум капитаном действующей армии. За годы независимости Карасай сделал успешную карьеру от лейтенанта до генералиссимуса. В честь него названа одна из центральных улиц в Алматы, а также улицы в других городах Казахстана. Причиной столь головокружительной карьеры стал тот факт, что его потомок в седьмом колене является бессменным руководителем Казахстана на протяжении более двух десятков лет.

2. *Специфика исторических исследований.* Если в естественных науках выходит качественная статья, то она сразу становится цитируемой, так как на ее основе создаются новые статьи другими авторами. Плотность обсуждения у естественников гораздо выше, чем у гуманитариев в целом и у историков в частности. В то же время в истории плотность обсуждения катастрофически низка, что в первую очередь отражается на импакт-факторе (включенности исторических журналов в базу данных «Томпсон Рейтерс»). Например, вопрос об этническом населении Золотой Орды (соотношение этнонимов «узбеки» и «татары») рассматривают очень разреженно. В XIX в. было семь исследователей, затронувших данную тему прямо или косвенно (причем иногда очень косвенно): Н.А. Аристов, П.П. Иванов, Г. Вамбери, М.А. Чапличек, Х. Хуукам, В.В. Григорьев. В XX в. таких исследователей было чуть больше: В.В. Бартольд, Б.Д. Греков, М.Г. Сафаргалиев, А.А. Семенов, Б.А. Ахмедов, Э. Олворт, В.П. Юдин, Ю. Шамильоглу, Т.И. Султанов, В.В. Трепавлов. В начале XXI в. эту тему также косвенно затронули соавторы Д.М. Исхаков и И.Л. Измайлов. Причем можно выделить четыре статьи (за 200 лет существования этой научной проблемы), которые были действительно качественно проработанными исследованиями. Т.е. качественный журнал по истории будет состоять из статей разнообразных тематик, на которые начнут ссылаться в лучшем случае через 5–10 лет. А иногда, если статья очень качественная, к ней могут вернуться только после ввода через 50 лет новых источников по теме.

У каждой науки своя специфика: если в других сферах науку можно представить как перевернутую пирамиду, когда одна статья или монография может стать началом нового направления, то история представляет собой латание белых пятен. Качественное исследование закрывает какое-то белое пятно,

и поэтому историки уже не занимаются этой проблемой (и соответственно слабо цитируют данного автора). В итоге к данной теме могут вернуться лет через 50, когда появится новый массив данных (первоисточников, нумизматического или археологического материала).

Стоит отметить, что по истории выходит мало работ именно общетеоретического характера, а если и выходят, то они мало цитируются и используются историками. Главные методологические работы в нашей науке написаны еще в XIX в. Если в политологии существует разделение на три уровня абстракции (исследование теоретических проблем (теории демократии), сравнительные исследования (демократия на постсоветском пространстве, демократия в нефтяных странах), локальные кейсы (демократия в Казахстане)) и там четко видна иерархия, когда изучающие теоретические проблемы считаются выше тех, кто занимается локальными кейсами, то в истории все исследовательское поле в основном состоит из локальных кейсов. При попытке написать концептуальные работы по большим кейсам исследователи натываются на широко распространенные идеи историков средневековья. Считается, что человек, пишущий работу более чем по двум векам, обязательно пропустит некоторое количество материала и допустит большое количество ошибок.

3. *Советское наследие.* Традиции исторической науки в СССР наложили отпечаток на развитие истории в постсоветских странах. В СССР у историков существовала практика подготовки одного-единственного специалиста по выбранной тематике. Считалось, что нам хватит одного специалиста по каждому периоду, другой специалист не нужен, так как это нерациональная трата ресурсов. Это приводило к некоторым стратегиям поведения. Один научный руководитель мог дать своему аспиранту тему, условно говоря, «Сахарная промышленность Казахстана в пятую пятилетку», а другому аспиранту ту же тему, но за шестую пятилетку. Намеренное дробление темы на более мелкие приводило к тому, что дискуссий при обсуждении просто не возникало. Других специалистов по сахарной промышленности за шестую пятилетку просто не было. Благодарные же аспиранты содействовали росту количества учеников у своего руководителя. Так возникал «научный феодализм», где аспирантам выдавались мелкие научные феодалы (малые кейсы) за поддержку своего сюзерена.

В России эта традиция сохранилась. Приведу пример: соискатель защищал кандидатскую диссертацию по одной теме, хотя большинство были уверены в том, что его тема является не-много другой. В это время один кандидат наук имел аспиранта

с абсолютно совпадающей тематикой. После того как это стало известно, все стали говорить, что ВАК может утвердить только одного кандидата наук по этой тематике. Руководитель второго аспиранта в надежде на не утверждение ВАКом диссертации написал «разгромный» отзыв на более чем 30 страницах (хотя он не был ни оппонентом, ни членом совета) на диссертацию первого аспиранта. Несмотря на все это диссертация была защищена и утверждена ВАКом.

Можно привести другой пример, когда в конфликт вступили признанный мэтр и молодой «подающий надежды» историк. Мэтр планировал написать книгу по одной теме. Но более молодой коллега опередил его и написал книгу по той же теме. С тех пор они не поддерживают контакты, точнее мэтр перестал общаться с молодым историком. Хотя, казалось бы, книги по одной тематике, выпущенные у двух разных авторов, должны быть полезны для развития научной дискуссии.

Еще одним наследием советской истории можно назвать слабую методологическую подготовку специалистов. Классические книги по методологии истории были написаны еще до революции 1917 г. Например, коллективная работа Ш.В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, переизданная только в 2000-х гг. В советское время историки неосознанно применяли методы исторической критики. И зачастую это вело к снижению научного качества статей и монографий.

Также интересна особенность, которая возникла в Казахстане в конце 1990-х гг. и широко распространилась в 2000-е гг. В советское время обязательной являлась первая ритуальная ссылка в диссертации на К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина. Один знакомый кандидат юридических наук провел два месяца в поисках такой ссылки по поводу экологии. К сожалению не найдя ее, он вынужден был «притягивать» одно выражение К. Маркса и говорить, что «Маркс говорил такое по экологии, и значит, тема диссертационного исследования актуальна». В Казахстане же с конца 1990-х гг. появилась неформальная мода, диктуемая научными руководителями, первой в диссертации давать ссылку на одну из многочисленных работ Н.А. Назарбаева. В истории, возможно, процент будет чуть ниже, но тоже высок.

Согласно классическим представлениям, у историков происходит разделение труда на три этапа: внешняя критика источника, внутренняя критика источника, синтез [Ланглуа, Сеньобос 2004].

1. *Внешней критикой* занимаются в основном люди, умеющие читать на древних языках. В истории Золотой Орды и пост-

ордынских ханств это главным образом востоковеды, знающие арабский, персидский языки, и турки (чагатайский язык). Цель этого этапа — найти все копии одного источника, сверить их между собой и сверенный текст, который был наиболее близок к оригиналу произведения, издать с научными комментариями. Таким образом, основная задача историка на этом этапе — это ввод новых источников в научный оборот.

2. Специалисты по *внутренней критике* источников в теме изучения истории Золотой Орды и постордынских ханств очень мало, причем в советское время их было еще меньше. Основная цель данного этапа — это установление фактов. Т.е. здесь нужно ответить на три вопроса: «Не лгал ли автор первоисточника сознательно?», «Мог ли ошибаться автор первоисточника в своих сообщениях?», «Кто был источником информации для автора первоисточника?» Часто бывает, что два разных сочинения противоречат друг другу, говоря об одном и том же. Задача историка — установить, какой источник здесь был прав.

3. *Синтез*. Специалисты по этому этапу должны использовать четко установленные факты из второго этапа (внутренней критики), а также факты из смежных наук (археология, нумизматика, искусствоведение, антропология, генетика и др.) для построения целостной картины события. Но поскольку специалистов по второму этапу очень мало, представители третьего этапа исторических исследований зачастую могут становиться лишь пересказчиками сведений из рукописей и первоисточников. Таким путем пошел Л.Н. Гумилев, который не работал ни с внешней, ни с внутренней критикой источников, а сразу «рисовал» целостные картины, попутно упуская множество четко установленных фактов либо выдумывая «факты», которые не существовали в реальности. Например, «факт» побратимства Александра Невского и Сартака, сына Бату, «факт» переписки Фридриха II и Бату. Талант хорошо пересказывать зрителям исторические события в своей интерпретации («функция Шахерезады» [Клейн 2011]) привел к бешеному росту популярности Л.Н. Гумилева в 1980–1990-х гг.

Помимо «феномена пересказчиков», стоит отметить и другую тенденцию. Еще в советской исторической науке часто востоковед, имея доступ к одному из первоисточников, не проводил внешней критики источника (не вводил его в научный оборот), а использовал его как аргумент при написании книги или статьи, давая ссылки на первоисточник, который никто не может посмотреть и проверить тем самым ошибки самого востоковеда.

В качестве яркого примера можно привести монографию Б.А. Ахмедова «Государство кочевых узбеков», где ссылки на

первоисточники идут сплошь и рядом. При вводе этих первоисточников в научный оборот сразу становились видны ошибки данного востоковеда. Другой пример — работа М. Кафалы, на которого все ссылались из-за того, что тот имел эксклюзивный доступ к стамбульской копии первоисточника Утемыш-хаджи и пересказывал его в своей монографии. Даже в программной статье такого мэтра востоковедения, как Т.И. Султанов, есть положения, которые противоречат методологическим основам: «С методологической точки зрения, к любого рода попыткам авторов-неориенталистов совершить интервенцию на нивы востоковедения [источниковедения. — Ж.С.] можно относиться только отрицательно» [Султанов 2009: 368]. Т.И. Султанов пытается сделать внешней и внутреннюю критику источников монополией востоковедов. Если по отношению к внешней критике его слова абсолютно справедливы, то внутренняя критика источника совершенно не требует знания языка, главным моментом здесь являются логика и аргументация позиции.

Рассказав о специфике истории как дисциплины, можно перейти к тому, как развивалась история Золотой Орды и постордынских ханств в советское время и после распада СССР. В 1960—1970-х гг. происходит повышение интереса к истории Золотой Орды и постордынских ханств. На научной сцене появляются Т.И. Султанов, Б.А. Ахмедов, В.П. Юдин, А.П. Григорьев, А.Г. Федоров-Давыдов, М. Усманов и др. При этом плотность обсуждения той или иной темы является разреженной в силу малого количества специалистов. В это время начинает выпускаться «Тюркологический сборник» (1966—1986).

В 1980-х гг. интенсивность публикаций по Золотой Орде начинает падать. Новая волна интереса к изучению Золотой Орды и постордынских ханств начинает подыматься с начала 2000-х гг. Выходят работы В.В. Трепавлова, И.В. Зайцева, В.П. Костюкова, Д.М. Исхакова, А.В. Белякова и др. Возобновляется выпуск «Тюркологического сборника».

С 2006 г. идет огромный рост количества публикаций, посвященных данной тематике. Плотность обсуждения становится более высокой. Сегодня в рамках научной дискуссии реакцию на вышедшую статью или книгу в форме статьи или рецензии можно получить в этом же году либо в следующем.

С 2008 г. работает Казанский центр изучения Золотой Орды, который начинает издавать научный журнал «Золотоордынская Цивилизация» (и позже ежегодный сборник «Нумизматика Золотой Орды») и проводить конференции, посвященные Золотой Орде и постордынским ханствам.

Таким образом, российская часть сообщества историков является центром, а казахстанская часть сообщества историков, изучающих данный период, является периферией. Знаменательно также то, что большая часть научных дискуссий по поводу ключевых событий в истории средневекового Казахстана (к примеру, происхождение династии казахских ханов, локализация Ак-Орды и Кок-Орды и др.) происходит в российских научных журналах. Если ситуация в России, связанная с изучением Золотой Орды, может только радовать, то изучение этой темы в самом Казахстане оставляет желать лучшего. Историческая наука в Казахстане не автономна от политической власти.

Это частично встречалось и в советском Казахстане. В.П. Юдин был одним из самых квалифицированных историков Казахстана, внес огромный вклад в изучение его средневековой истории. Но в формальной иерархии он занимал одно из последних мест, не будучи даже кандидатом наук. По рассказам коллег, В.П. Юдин не смог защититься из-за испортившихся отношений с начальством. В 1969 г. был издан фундаментальный исторический труд «Материалы по истории Казахского ханства». В.П. Юдин написал вводную статью для этого коллективного труда. Начальник Института истории, археологии и этнографии имени Шокана Валиханова захотел стать соавтором В.П. Юдина в уже написанной статье, на что В.П. Юдин ответил отказом. В результате ему пришлось сменить работу.

Мотивы отъезда Т.И. Султанова из Казахстана не очень ясны, но в кулуарах также говорят о конфликте с начальством. У В.П. Юдина был «неформальный ученик», доктор исторических наук Н.Э. Масанов. С одной стороны, авторитет Н.Э. Масанова среди квалифицированных историков огромен. С другой стороны, у него не было ни одного формального ученика. Кроме того, в 1990-х гг. Н.Э. Масанова несколько раз увольняли из Казахского государственного университета за оппозиционную деятельность. Другой неформальный ученик В.П. Юдина Т.К. Бейсембиев, специалист по кокандской истории и историографии, также не смог оставить ни одного формального ученика, несмотря на огромный авторитет в научных кругах.

Н.Э. Масанов и Т.К. Бейсембиев получили признание коллег на Западе и в России, но не сумели конвертировать свой научный капитал в административный на родине, в Казахстане. К концу жизни Н.Э. Масанов отчасти смог это сделать. Для того чтобы убрать фигуру Н.Э. Масанова из оппозиционного движения, власть Казахстана специально открыла исторический Институт по проблемам культурного наследия кочевников. После смерти Н.Э. Масанова институт возглавил еще один из

авторитетнейших специалистов по средневековой истории Казахстана — И.В. Ерофеева. Но у нее были плохие отношения с историками, контролировавшими административные ресурсы. Все это закончилось «подарком» ко дню ее 58-летия: И.В. Ерофеева была уволена с должности «в связи с достижением пенсионного возраста».

Другим примером отсутствия автономии истории как науки от политической власти может являться назначение в 2013 г. бывшего муфтия Казахстана (духовный лидер и глава всех мусульман Казахстана) А. Дербесали¹ директором Института востоковедения вместо М.Х. Абусеитовой (еще одной неформальной ученицы В.П. Юдина). В России, по моему мнению, было бы трудно провести назначение патриарха Русской православной церкви на пост, например, директора Института российской истории РАН. Впрочем, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл иногда тоже участвует в работах историков, присуждая им премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) по номинации «История России».

Со времен В.П. Юдина в исторической науке Казахстана дела стали гораздо хуже. Иллюстрацией может служить ситуация с К. Сарткожой. В Казахстане до определенных пор существовал единственный специалист по тюркским руническим надписям — Каржаубай Сарткожа. В 2005 г. он вместе с Мырзатаем Жолдасбековым выпустил «Атлас Орхонских памятников» на казахском языке, на русском языке книга вышла в 2007 г. Причем Мырзатай Жолдасбеков (бывший ректор Евразийского национального университета и начальник К. Сарткожи) был указан как первый соавтор. Сей факт в среде историков вызвал своеобразную реакцию. Всякий раз, когда историки цитируют данную книгу, они пишут: «К. Сарткожа перевел это выражение так...», а имя М. Жолдасбекова вообще не упоминается (в списке литературы его имя, конечно, присутствует). Но этот факт известен только узкому кругу историков, в то время как большинство обывателей и даже научных сотрудников (не историков) реально верят в то, что М. Жолдасбеков является «великим тюркологом».

На оставшиеся вопросы редакции можно ответить следующим образом.

1

Столичной наукой в истории Золотой Орды является российская историческая наука. По моему мнению, провинциальная и туземная наука связаны с таким феноменом, как плотность

¹ Справедливости ради можно сказать, что изначально А. Дербесали делал академическую карьеру филолога, но позже «стал верующим» и возглавил Духовное управление мусульман Казахстана.

обсуждения. В туземной науке обсуждение вообще отсутствует, в провинциальной науке оно довольно разрежено. Причем в провинциальной науке происходит обсуждение не теорий и гипотез, а определенного кейса.

3

По моему мнению, история Золотой Орды и постордынских ханств является одной из немногих научных дисциплин, которая находится на мировом уровне. При этом (в отличие от других дисциплин) история Золотой Орды в России является центром, а изучение Золотой Орды в США или Великобритании — периферией. Это, конечно же, связано со спецификой изучаемого объекта. Изучение истории Англии вряд ли будет представлено российскими учеными на мировом уровне, хотя изучение истории многих стран имеет свой центр в Великобритании и США.

4

Можно сравнить туземную науку с дохристианской Европой, где господствовали разные языческие культы. И если у христиан существует целый ряд персонажей, которые признаются всеми, то при встрече язычников (представителей туземной науки) они могут узнать, что Иисус, Иосиф или Авраам ничего не значат для почитателей Одина. Провинциальная наука здесь будет выступать как христианизированная формально Европа. Но при этом количество людей, читающих на латыни, и тех, кто читал Библию, предельно мало. Епископы и архиепископы в некоторых случаях могли вообще не знать, что писалось в Библии в силу неумения читать на латыни. Из-за своего сана и безграмотности населения они могли спекулировать на интерпретации Библии в свою пользу. Людей, которые знали латынь, читали Библию и спорили с ними, они подвергали репрессиям, называли еретиками, отлучали от церкви. Здесь основной функцией епископов была либо легитимация действий властей (при сильной государственной власти), либо получение ренты путем продажи постов в церковной иерархии или продажи индульгенций.

Столичная же наука характеризуется большим количеством обсуждений и легкой доступностью материалов обсуждения. Книгопечатание (вместо дорогого пергамента) и переводы Библии на национальные языки Европы приводили к демонополизации «религиозного знания». Таким образом, можно утверждать, что туземная, провинциальная и столичная науки — это разные ступени развития, зависящие от плотности обсуждения.

Библиография

Клейн Л.С. Загадка Льва Гумилева // Троицкий вариант. 2011, 10 мая. № 78. <<http://trv-science.ru/2011/05/10/zagadka-lva-gumilyova/>>.

- Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2004.
- Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана. Алматы: Дайк-пресс, 2007.
- Султанов Т.И. Ловушки для востоковедов-текстологов // Тюркологический сборник 2007–2008. М.: Восточная литература, 2009. С. 360–369.

СЕРГЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

Гуманитарная научная дисциплина: ремесло, языковая игра, форма жизни или манера письма?

Статья Михаила Соколова и Кирилла Титаева о провинциальности / туземности научных дисциплин по-хорошему провокативна, а их остроумные определения и формулировки, рассыпанные по ее тексту, понуждают читателя одновременно узнавать и соглашаться, но и желание оспаривать, по крайней мере некоторые из утверждений. В этом отношении мне трудно поддаться воле редакции и полемизировать с авторами статьи в жанре «вопрос-ответ», но интереснее определить и прокомментировать пункты несогласия с нарисованной авторами довольно правдоподобной картиной научных ситуаций.

Метафора «разговора» применительно к науке оказывается весьма продуктивной, и ее можно распространить практически на любые жанры научной коммуникации, уподобив их жанрам собственно разговорным — от светской болтовни до задушевной беседы, от официального выступления до пьяного бреда. Авторы статьи блестяще справились с развертыванием этой метафоры средствами социологического анализа речевой коммуникации *à la* Гоффман и Сакс. Я думаю, что не менее эффектная картина получилась бы и в результате применения, к примеру, транзакционного анализа *à la* Эрик Берн, в которой «взрослые»

дисциплинарные сообщества, дисциплины или исследователи взаимодействовали бы с «детскими», а все их трансакции классифицировались бы как параллельные, пересекающиеся или скрытые. И мы стали бы говорить о родительском авторитете в науке (отцах-основателях и дисциплинах-прародителях) и инфантилизме отдельных исследовательских областей, дисциплин или национальных традиций.

Развернутые метафоры хороши тем, что высвечивают те черты нашей повседневности, которые поставленная ею оптика перестает различать. Однако развертывание метафоры как один из видов языковых игр, по-видимому, лучше других обслуживающих позицию ироническую, имеет свои границы и недостатки. «Слишком» развернутая метафора становится натянутой, переставая «освещать» и сохраняя лишь риторическую и идеологическую функции, при этом ирония незаметно становится сарказмом, а сарказм — ядовитым и малопродуктивным. Фигура уподобления тогда начинает больше скрывать и выдавать одно за другое, нежели раскрывать сходства и обнажать суть.

Метафора разговора увлекает читателя настолько, что он может забыть об основной и легитимирующей науку цели повседневных интеракций ученых между собой — продвижении к истине, толкуется ли она позитивистски как соответствие утверждений положению вещей в так называемом объективном мире (и именно в этом случае те, кто разделяет эту концепцию истинности, говорят о кумулятивном характере научного знания), прагматически — как соответствие целевым установкам познающего и практической пользе, или постмодернистски — как фальсификационистская языковая игра. В последних двух случаях рассуждать о кумулятивизме вряд ли возможно, однако существование научных сообществ, опирающихся на концепции современного прагматизма или на постметафизические концепции в духе Фуко и Бодрийяра, тоже вряд ли кто станет отрицать. Стало быть, и тезис, в соответствии с которым основной легитимационный миф науки, поднимающий ее в глазах самих ученых над другими сферами социальной жизни — это кумулятивность, позволяющая каждому внести свой вклад в возведение общего строения и в этом смысле дающая ему бессмертие [Соколов 2009: 135–136], оказывается применимым лишь в отношении позитивистски ориентированных научных сообществ, но даже там он встретит трудности, как только выйдет за рамки «наук» в область «гуманитарных дисциплин», в которых кумулятивизм оказывается узко локализованным в отношениях «классики и эпигоны» или «ведущие школы», где «эпигоны» и «ученики» ориентированы на кумулятивистскую модель, а «классики» и «основатели

школ» в силу своей роли вынуждены избирать стратегию разрыва с предшествующей традицией. Иными словами, кумулятивная модель не единственна и плохо отражает закономерности развития научного знания, поскольку не учитывает особенностей развития как раз в гуманитарных дисциплинах и даже в так называемых «социальных науках». Для доказательства кумулятивного развития научного знания в так называемых «точных науках» можно апеллировать к прогрессу технологий, куда сложнее уловить кумулятивные структуры, например, в теории истории. В основании попыток приложения кумулятивной модели к нашим дисциплинам лежат претензии со стороны отдельных дисциплинарных сообществ на принадлежность к «наукам», на научность в смысле объективности, сопоставимости и повторяемости наблюдений и игнорирование таких феноменов как знание-власть, сращенность авторитетных видов социального знания с индоктринацией определенного мировоззрения, феномен так называемых самосбытающихся прогнозов и т.п. В эпистемологическом плане мы здесь опять сталкиваемся с уже упомянутым выше спором между сторонниками так называемой корреспондентной и когерентной концепций истинности.

Мне представляется (это, разумеется, дело вкуса и личных интуиций, поскольку доказательств противного здесь не меньше, чем прямых свидетельств утверждаемого), что в отношении дисциплин нашего круга (или, как любит шутить акад. Велихов — «противоестественных наук») фрактальная картина развития научных концепций с ее ницшеанской идеей вечного возвращения уже известного в новой упаковке (как, например, описанная в книгах Эндрю Эбботта — [Abbott 2001]), или институциональные концепции развития научного знания у Ричарда Уитли [Whitley 1984] и Штефана Фукса [Fuchs 1992], или концепция интеллектуальных перемен Рэндалла Коллинза [Collins 1998] лучше описывают развитие научного социального знания, нежели разные версии кумулятивных концепций развития научного знания. У инициаторов нашей дискуссии словечко «наука» маскирует пропасть между точным и социальным знанием и между, воспользуемся здесь дильтеевским различием, «науками духа» и «точными науками».

Национальные дисциплины иногда лишь потому и национальны, что отражают именно местную специфику социализации и социальности и уникальные совокупности местных практик. Дело тут, конечно, не в соответствии пресловутому национальному менталитету или интересам, а в попытках исследователей «схватить» и понять особенности здешней жизни, а не какой-то мировой и якобы универсальной, подчиняющейся если пока и не выявленным общим законам, то хотя бы доминиру-

ющей (читайте — гегемонистской) традиции «мировой социальной науки» (это, разумеется, идеологический конструкт, по-разному используемый националистами и «универсалистами»). Компаративистика в любой дисциплине, конечно же, должна основываться на каких-то реальных или постулируемых универсалиях или хотя бы их аналогах, привязываемых обычно к универсалиям биологическим (все люди рождаются и умирают, а между этим едят, спят, дышат и т.д., но в разных местностях и странах это делают все-таки несколько по-разному). Какие-то «формы жизни» при этом оказываются весьма близкими, лежа в основе региональных сходств, другие (как, например, речевые практики) варьируют не только в пределах сравнительно небольших местностей типа сельского района, но и внутри отдельных населенных пунктов, поскольку на них влияют круги общения, профессиональная специализация, социальная стратификация и проч. Речевые практики социальных дисциплин не только и не столько описывают мир, сколько участвуют в его производстве, поддерживая своим авторитетом некоторые социальные представления и критикуя или низвергая другие. Советская этнография, например, в какой-то момент восприняла как научную идею этноса и сделала существенный вклад в становление и расцвет местных национализмов, а постсоветская этноконфликтология была важным фактором не только описания социальных конфликтов, но и их идеологического обоснования в качестве «межэтнических». Национальная или туземная наука, стало быть, несет ответственность за производимый и распространяемый ею вариант картины мира или ее фрагмента. Поскольку ученые знакомы с иными концептуализациями в других национальных школах, а также с ролю и особенностями использования социального знания в других национальных контекстах, они в зависимости от своей гражданской и политической позиции всегда могут выбирать, в какую версию социальной реальности вкладывать свой интеллект, темперамент и силы. Есть выбор — есть и ответственность. В этом смысле лозунг «Думай глобально — действуй локально» относится и к ним тоже. Заимствуя из других традиций «потребные образы будущего» (в случаях, когда местные традиции и тенденции их развития перестают удовлетворять), они сталкиваются с задачей их прививки, настройки на местный контекст, встраивания в местные тезаурусы и репертуары знания и поведения и проч. Это специальная работа, значение которой нельзя недооценивать — никаких готовых велосипедов или рецептов *prêt-à-porter* заимствовать невозможно, точнее заимствовать-то можно, но чтобы они заработали, потребуются грамотные усилия специалистов. Например, попытки части нынешнего поколения российских

этнологов (антропологами я их назвать не могу из-за их исключительной и сегодня представляющейся слишком узкой специализации на изучении этнических феноменов при практически полном игнорировании всех прочих социально и культурно значимых сюжетов) по внедрению концепции ситуативной, множественной и изменчивой этнической идентичности отчасти увенчались успехом, и какая-то часть политической элиты страны и ее населения сумела осознать плюсы и минусы конструктивистской и примордиалистской концепций в области управления культурным и языковым многообразием. Провинциальная наука (в терминологии авторов) здесь оказывается лишь стадией или моментом в рецепции заимствованного знания.

Квалификация знания как «заимствованного» обычно имеет негативные коннотации, но в данном случае можно говорить и о переводе в его наиболее общем и философском значении [Автономова 2008] или трансфере знаний, причем не только из других национальных традиций, но и на междисциплинарном, межпоколенческом, а в пределе — межличностном или даже внутриличностном уровнях, когда знание, упакованное в концептуальные схемы своего времени, переосмысливается исследователем на другом этапе его жизни (например, ранний и поздний Витгенштейн или Хайдеггер). Может ли ли такое знание опознаваться как «туземное», «провинциальное» или «имперское»? Здесь уподобление отношений анализа референтных сообществ в науке колониальным отношениям между центром и периферией начинает хромать и давать сбои. Вернее, изначальные натяжки, допущенные этим метафорическим уподоблением, становятся очевидными. Увидеть эти натяжки позволяет смена оптики, при которой не проблематизируемое понятие заимствования оказывается при внимательном рассмотрении сложно устроенным событием, в котором «свое» и «чужое», «туземное» и «иноземное», новое и привычное находятся в столь тесном соседстве и переплетении, что уже никакая натурализация или эссенциализация «почвы» (этого скрытого основания классификации знания на свое и чужое) становятся невозможными. Можно, наверное, отказаться от концепции референтных групп в трактовке Р. Мертон как слишком на сегодняшний вкус структуралистской и позитивистской, но почему тогда заодно не отказаться и от другой позитивистской иллюзии — идеи кумулятивизма? Метафора науки как разговора вроде бы вплотную подводит нас к, как представляется, более уместной в этом контексте витгенштейнианской концепции науки как *языковой игры*, точнее — совокупности таких игр (или, если брать такие языковые практики в единстве с социальными институтами — как особой *формы*

жизни), а если сделать фокусом рассмотрения тексты как объективированные следы этих игр — к гирцевской идее научной дисциплины как *манеры письма* или особого *ремесла*. Все эти концептуализации противостоят позитивистским концепциям научных дисциплин и развития научного знания. Авторы могут, конечно, возразить, что кумулятивность у них является понятием скорее дескриптивным, нежели аналитическим, и что оно никак не является центральным для их построений. Попробуйте, однако, его изъять из этих построений, и посмотрите, что получится.

Библиография

- Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М.: РОССПЭН, 2008.
- Соколов М.М. Гоффман, Мэри Дуглас и смысл (академической) жизни: Церемониальные аспекты критических дискуссий в теоретической социологии // Антропологический форум. 2009. № 10. С. 130–143.
- Abbott A. *Chaos of Disciplines*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Collins R. *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- Fuchs S. *The Professional Quest for Truth*. Albany: SUNY Press, 1992.
- Whitley R. *The Intellectual and Social Organization of the Sciences*. Oxford: Clarendon Press, 1984.

БОРИС СТЕПАНОВ

Статья М. Соколова и К. Титаева представляет собой интересный опыт использования модели, разработанной на материале повседневной коммуникации, для описания коммуникации научной. Концепция распределения внимания — придать более фундаментальный характер науковедческим студиям, основанным на исследованиях индексов цитирования (см.: [Савельева, Полетаев 2010; Pislyakov, Shukshina 2012; Kirtchik, Gingras, Larivière 2012] etc.), анализировать разные типы границ между научными сообществами (национальные, дисциплинарные, пространственные и т.д.) и формулировать гипотезы относительно того, какие факторы — как внутринаучного, так экстранаучного порядка — влияют на

Борис Евгеньевич Степанов
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва
steppann@mail.ru

потребность ученых в поддержании или преодолении этих границ. Особенно симпатичным представляется то, что в своих рассуждениях авторы пытаются соединить этнографический, библиометрический и дискурсивный типы анализа.

Предлагаемая в статье интерпретация «провинциальной» и «туземной» науки представляется важной в том смысле, что она переформатирует рамку рефлексии о состоянии отечественной науки, которая до этого разворачивалась в двух разных плоскостях. Одна из них была связана с рефлексией о национальной науке, которая существовала в форме экспертных откликов о достижениях отечественных ученых в различных областях знания или упомянутых выше опытах изучения международной востребованности результатов их работы на основе анализа индексов цитирования. Одним из наиболее значимых опытов в этом отношении был выпущенный три года назад сборник «Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши», авторы которого попытались оценить присутствие тех или иных областей локальной науки в некотором условном мировом пространстве.

Потребность российских и польских ученых в такого рода рефлексии объясняется периферийным положением этих двух стран, усугубленным социальным контекстом бытования науки в советский и постсоветский период¹. Как отмечала один из редакторов сборника И. Савельева, «ни французам, ни немцам, ни американцам не придет в голову сделать темой монографии исследование вклада своих ученых, представляющих социально-гуманитарные дисциплины, в мировую науку» [Савельева 2010: 5]. Несмотря на проблематичность самого понятия «мировая наука», неоднократно отмеченную авторами сборника, предложенные ими рассуждения во многом были связаны с констатацией провинциального положения российской науки. В радикальном и концентрированном виде это выразил А. Филиппов, который заметил, что говорить на эту тему «легко и неприятно» — в связи с очевидными дефицитами отечественной науки и крайне низким авторитетом ее в международном научном сообществе (Цит. по: [Савельева 2010: 7]). В числе различных интерпретаций, которые давались провинциализму российской науки, были такие, в которых он объяснялся ее колониальным статусом. По мнению Н. Брагинской, русские ученые оказываются для иностранных коллег чем-то вроде туземцев, прилагающихся к региональному

¹ На мой взгляд, среди этих трудностей стоит специально выделить отсутствие устоявшейся системы научных коммуникаций и мониторинга науки — в отличие от западных стран, где рефлексия о вкладе в науку осуществляется не в форме отдельных интервенций, но систематически — в связи с функционированием сложившейся системы научных коммуникаций и самооценки научного сообщества.

сырью, выступающему для западных ученых объектом профессионального интереса. «Русский любой профессии, — пишет Брагинская, — является представителем своей национальной культуры только как туземец и интересен только в этом качестве» [Брагинская 2010: 57].

Другим направлением рефлексии, которое в большей степени соотносится с тем, что М. Соколов и К. Титаев называют «туземной наукой», были попытки оценить некоторый общий уровень понимания тех или иных проблем и качество научной саморефлексии в российском гуманитарном знании. Прежде всего, здесь стоит отметить довольно большой корпус работ, посвященных критике политического изоляционизма¹. Гораздо более скромный корпус образуют работы, посвященные обсуждению научных рамок гуманитарной рефлексии. Наиболее интересными представляются те из них, в которых преодолеваются то, что М. Соколов и К. Титаев описывают как «комплекс провинциализма», — претензию на участие в одном академическом разговоре в ситуации реального участия в другой, местной дискуссии. Это выражается в двух принципиальных интенциях, которые мы можем обнаружить уже в классическом анализе идеологии К. Гирца.

Во-первых, речь идет о констатации социальной значимости описываемого «туземного» знания, которое требует понимания хотя бы в силу его распространенности². Во-вторых, — о признании невозможности применять к нему жесткие оппозиции вроде оппозиции «наука» — «идеология». Непредвзятый анализ показывает, что, с одной стороны, в основе производства этого маргинального знания лежат те же интеллектуальные операции, что и в основе производства науки. С другой же стороны, здесь мы сталкиваемся с пренебрежением (намеренным или ненамеренным) некоторыми процедурами, соблюдение которых и конституирует науку как специфический вид интеллектуальной активности.

Как отмечал Л. Гудков, одним из таких условий является способность соотносить себя с другими точками зрения, выступающая залогом теоретической последовательности и условием контролируемости и однозначности реализуемого научного объяснения. Соответственно, опасность некритического отношения к собственному аналитическому языку и неразличение науки и здравого смысла грозит исследователю «реификацией

¹ Думаю, что участники того «провинциального» сообщества, к которому апеллируют авторы статьи, сами легко реконструируют примеры такого рода работ.

² С учетом последней уже столичный «провинциал» оказывается маргиналом по отношению к производителям «туземного знания», а вовсе не наоборот.

теоретической двусмысленности». Последняя «означает невозможность контролировать смену внутренней адресации теоретического действия. Субстанциализация в подобных случаях, а соответственно, утверждение реальности, истинности познанного, оборачивается вытеснением конкурирующих объясняющих конвенций и претензиями на абсолютный авторитет, базирующийся на “подлинном знании”. Невозможность рефлексивного контроля в этих случаях ведет к иммунизации знаниевых конструкций в отношении возможной критики» [Гудков 1994: 170]. Конкретные примеры такого рода реификации, связанные с тем, что изучение истории сводится к использованию метанарративных конструкций как готовых и вместе с тем публицистических приемов построения текста, можно найти в статьях Г. Зверевой, посвященных постсоветской историософии (см., например: [Зверева 2002])¹.

Обе эти интенции означали отказ от привилегированной позиции интеллектуала, позволяли проблематизировать собственные нормативные представления о научности. Благодаря этому становится возможной более рафинированная модель коммуникативного анализа науки, который вводил бы более универсальные перспективы и средства научной саморефлексии. В этом же русле находилось и мое собственное исследование, которое — в отличие от упомянутых выше образцов — было непосредственно обращено к региональной интеллектуальной среде [Степанов 2002]. Одним из сюжетов, которые в нем затрагивались, были изменения в самоописании и самоопределении интеллектуального сообщества в ситуации распада системы советской философии и науки, который фиксируют в своей статье М. Соколов и К. Титаев². Однако главным объектом исследования были философские основания и формы репрезентации производимого знания, анализ которых позволяет зафиксировать специфику этой научной культуры. Задача заключалась в том, чтобы вывести в поле рефлексии стоящую за ними субъективность и проявить тем самым, по выражению М. Фуко, «предел нашего мышления» так же, как это было сделано, например, на материале народного автобиографического нарратива и наивной литературы в работах Н. Козловой, И. Сандомирской и М. Абашевой [Козлова, Сан-

¹ Презумпцией, сближающей названные работы с поисками представителей «новой интеллектуальной истории», является признание метафоричности научных понятий, отсылающее нас к проблеме рефлексивных процедур, позволяющих контролировать объективацию ценностей исследователя в научном тексте.

² Примером может служить переименование межзонального симпозиума Горьковского инженерно-строительного института, на который съезжались философы из разных городов СССР, в Нижегородскую ярмарку идей, ставшую формой объединения почти исключительно локального интеллектуального сообщества.

домирская 1996; Абашева 2001]¹. В рамках проведенного исследования удалось показать процесс распада советской интеллектуальной парадигмы и обращения к новым знаниевым горизонтам, который сопровождался нарастанием эклектизма форм производства знания (например, использование матричных перечней, с одной стороны, и обращение к популярным этимологическим экскурсам, с другой).

Характеристика провинциальной и туземной науки в тексте М. Соколова и К. Титаева представляется полезной, поскольку она позволяет поместить эти два типа рефлексии об асимметричном характере научных коммуникаций в единую перспективу. Однако, как мне представляется, сам опыт исследования содержит некоторую внутреннюю асимметрию. Ключевое место в нем занимает описание провинциальной науки, несмотря на замечание авторов статьи о том, что этот тип науки «слишком хорошо знаком читателю, чтобы имело смысл на нем долго задерживаться». Провокативность этого описания заключается в том, что в рамках предложенной М. Соколовым и К. Титаевым теоретической рамки понятие «провинциальности» не только лишается пейоративности, но и переводится из режима негативной самоидентификации претендующей на лидерство группы в режим ее самоописания. При этом особую выразительность ему придает то, что этнографическая наблюдательность (местами весьма ироническая) обращена здесь не на иное этническое, профессиональное или субкультурное сообщество, а на ту среду ученых, к которой принадлежат и сами авторы текста. Авторы изящно обыгрывают собственную провинциальность, возводя свой текст к традициям «туземной» чикагской школы².

Однако предложенное описание «туземной» науки кажется не столь убедительным. Проблематичной представляется попытка представить ее как равноценную альтернативу «провинциальной» науке. Во-первых, уже метафора аэродрома, к которой авторы статьи обращаются в начале раздела, посвященного туземной науке, представляет последнюю как иллюзорно успешную и самодостаточную в противовес реалистически неуспешной провинциальной. Стоит ли говорить, что эта иллюзорность туземной науки ее недвусмысленно дискредитирует³.

¹ Как справедливо отмечает М. Абашева, графоманское письмо проявляется в провинции ярче и выразительнее, чем в столице [Абашева 2001: 276].

² Вместе с тем здесь можно поставить вопрос: существуют ли, вопреки приведенному выше радикальному тезису Н.В. Брагинской, области, в которых отечественные ученые могут в большей степени претендовать на роль равноправных участников международных академических дискуссий?

³ На мой взгляд, эта метафора не вполне точна и в отношении провинциальной науки. Разве не свидетельствуют сами визиты иностранных профессоров, что эти самолеты в определенном смысле все-таки садятся на наши карго-аэродромы?

В концептуальном плане можно сказать, что если, согласно данному в статье определению, «наука является крайним примером разговора *ex ante*», то туземная наука — это оксюморон, поскольку в ней, как пишут М. Соколов и К. Титаев, «любой академический разговор становится разговором *ad hoc*». Во-вторых, несмотря на все усилия авторов (см., например, рассуждение о фигуре просвещенного туземца, отсылающей, очевидно, к столичным представителям туземной науки¹), туземная наука конструируется как наука региональная. Об этом свидетельствует не только предпосланная эмпирическому анализу история центрo-перифирийных отношений в советской и постсоветской науке, но и то, что сам этот анализ в довольно большой мере опирается на материалы региональных сборников. Наконец, в-третьих, некоторые из приводимых примеров не являются репрезентативными даже для региональной науки. В частности, речь идет о рекомендациях убирать из студенческих текстов ссылки на чужие работы. С одной стороны, в данном случае мы имеем дело с материалом, который несопоставим по своему весу с тем, на котором строился анализ провинциальной науки. С другой стороны, даже для того, что авторы называют туземной наукой, он не представляется показательным, ведь множество текстов, создаваемых региональными учеными, содержат ссылки и другие атрибуты провинциальности². Другое дело — какой характер носят эти ссылки и почему при наличии ссылок, свидетельствующих об использовании библиотек и Интернета, эти тексты в ряде случаев представляют дело так, что рефлексия об избранном предмете начинается в них с чистого листа.

Приведу пример одного из подобных текстов, относящихся к эмпирической базе упомянутого исследования нижегородской интеллектуальной среды. Речь пойдет о тезисах под названием «Влияние телевидения на типы социального поведения». Здесь есть отсылки к «классической» традиции анализа СМИ, включающей, правда, исключительно расставленных в свободном порядке западных психологов от З. Фрейда до Ф. Перлза и советских философов от В. Афанасьева до В. Степина. Концептуальные модели автор текста берет у М. Вебера, своего научного руководителя Л. Зеленова и известного консервативного публициста К. Крылова, цитата из работы которого, впрочем, не носит идеологического характера. Что же касается собственно исследований телевидения, то автор

¹ Ср.: «На глазах авторов многие, начинавшие как провинциалы, приходят к отстаиванию неизбывной ущербности импортных теорий в объяснении отечественных реалий — теме, по которой безошибочно опознается просвещенный туземец».

² Даже если речь идет о ссылках на локальные теории вроде глобалистики, синерго-информатики и проч., которые в определенном смысле не так уж и локальны.

ссылается как на отечественные периодические издания (причем, что важно, — сугубо по интернет-версиям)¹, так и — в духе характерных для этой среды политических ориентаций — на текст менее известного консервативного публициста Н.Е. Марковой под названием «Технологии уничтожения».

Таким образом, перед нами весьма неоднородная стратегия построения системы отсылок. Здесь присутствуют апелляции и к «большой науке» (Вебер), и к локальному авторитету, которому автор, по-видимому, обязан приобщением к советской традиции изучения СМИ, и постсоветская консервативная публицистика, задающая рамку политической идентификации, и доступный автору круг отечественных специализированных работ, отсылающих к западным авторитетам. Последние, возможно, обладают определенным новизной для того круга читателей, к которому автор обращается. То, чего мы здесь не находим, — это потребность выстроить иерархию цитируемых работ и концепций, провести привычные нашему глазу границы между наукой и публицистикой, осмыслить стратегию присвоения чужих текстов. При этом собственная позиция автора оказывается не новой, но, во всяком случае, достаточно неожиданной.

В контексте вышесказанного, ссылок на работы консервативных публицистов и критических инвектив в адрес таких программ, как «За стеклом», «Дом-2» и т.д., автор начинает свой текст со следующей достаточно неожиданной формулировки: «Как яркое и непревзойденное явление культурной духовной жизни современного общества телевидение несет человечеству великие блага свободы, просвещения, возможности обмена информацией, мнениями, сближает народы. Рождается новая эпоха общения между людьми»², а заканчивает призывом «не делать из телевидения пугало». Вряд ли в этой ситуации можно говорить и о восстановлении науки «по уцелевшим остаткам», ведь туземная наука собственно и воспринимается как мировая, причем это, как справедливо отмечают авторы статьи, выражается в том, что темы берутся как максимально общие или глобальные.

Сказанное, как мне кажется, побуждает поставить вопросы о возможностях конструирования «туземной науки» как идеального типа, выступающего альтернативой науке «провин-

¹ Кроме этого в тексте есть еще несколько фамилий западных и отечественных ученых, чьи мнения могут приводиться даже в виде цитат, но без всякой отсылки к источнику, откуда они взяты.

² Эта формулировка неожиданна как в содержательном, так и в историческом плане: анализируемые тезисы опубликованы в 2008 г.

циальной», проекции этих типов на региональную науку¹, потенциале включения в горизонт анализа востребованных учеными способов использования понятий, рефлексивных процедур, практик работы с информационными ресурсами и т.д. Наконец, можно вести речь о расширении спектра анализируемых форм интеллектуального изоляционизма, вроде тех случаев, когда исследовательская работа оправдывается культурной значимостью объекта (православия, романов Достоевского и т.д.) или когда теоретический инструментарий связан с изучением (беру лишь самые тривиальные примеры) сюжетов вроде ментальности или культурных архетипов.

Вместе с тем, постановка вопроса об эффективности выделенных М. Соколовым и К. Титаевым типов науки и поиске третьего пути представляется мне абстрактной. Собственно говоря, ценность предложенной ими для обсуждения работы как раз и заключается в указании на те условия, которые в одних случаях делают эффективной туземную науку, а в других — провинциальную. Однако к содержанию этой деятельности они прямого отношения не имеют, поскольку здесь все определяется той оценкой научного и ненаучного, ценного и неценного, которую дает то или иное научное сообщество или которая существует в рамках той или иной дисциплины. Да и исследования по истории науки показывают, что идеологические установки находятся в неоднозначных отношениях с производимым учеными продуктом, а научный изоляционизм вовсе не препятствует его высокому качеству и международной востребованности (см., например: [Серио 2001; Kozhevnikov 2004]).

Библиография

- Абашева М.П.* Литература в поисках лица. Русская литература в конце XX в.: становление авторской идентичности. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2001.
- Брагинская Н.В.* Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе // Е. Аксер, И. Савельева (ред.). Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. С. 34–62.

¹ Примером зоны, где региональная наука дрейфует от полюса туземной науки в сторону науки провинциальной, могут быть вестники провинциальных университетов. Несмотря на очевидную связь их формы с воспроизводством туземной науки, с одной стороны, и крайне неоднозначный характер регламентации их работы в рамках российской научной политики, с другой стороны, в некоторых случаях этим изданиям удается преодолевать их исходную закрытость (см. об этом: [Степанов 2013]). Вместе с тем стоит отметить, что целый ряд особенностей «туземной» науки имеет свои предпосылки в организации регионального сообщества, где малое число специалистов в тех или иных областях побуждает к расширению круга профессионального общения (см.: [Курилла 2010]).

- Гудков Л.Д. Метафора и рациональность как проблема социальной эпистемологии. М.: РУСИНА, 1994.
- Зверева Г.И. «Присвоение прошлого» в постсоветской историософии России (Дискурсный анализ публикаций последних лет) // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 540–556.
- Козлова Н.Н., Сандомирская И.И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис — Русское феноменологическое общество, 1996.
- Курилла И.И. Историк в региональном вузе на перекрестке сообществ // История: электронный научно-образовательный журнал. 2010. Вып.1: Историческая наука в современной России [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. <http://mes.igh.ru/magazine/content/istorik_v_regionalnom_vuze.html>.
- Савельева И.М. Присутствие и отсутствие... // Е. Аксер, И. Савельева (ред.). Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010. С. 5–19.
- Савельева И.М., Полетаев А.В. Российские историки в зарубежных журналах // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2010. Вып. 32. С. 5–21.
- Серио П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в центральной и восточной Европе. 1920–1930-е гг. / Авториз. пер. с франц. Н.С. Автономовой. М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Степанов Б.Е. В поисках границ Универсума: региональная интеллектуальная среда в эпоху перемен // Культура и власть в условиях коммуникационной революции. М.: АИРО-XX, 2002. С. 378–415.
- Степанов Б.Е. «Натуральное хозяйство»: формы университетской солидарности и научных коммуникаций в постсоветский период // Е.А. Вишленкова, И.М. Савельева (ред.). Сословие русских профессоров: Создатели статусов и смыслов. М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. С. 169–188.
- Kirtchik O.I., Gingras Y., Larivière V. Changes in Publication Languages and Citation Practices and their Effect on the Scientific Impact of Russian Science (1993–2010) // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2012. Vol. 63. No. 7. P. 1411–1419.
- Kozhevnikov A. Stalin's Great Science: The Times and Adventures of Soviet Physicists. L.: Imperial College Press, 2004.
- Pislyakov V., Shukshina E. Measuring Excellence in Russia: Highly Cited Papers, Leading Institutions, Patterns of National and International Collaboration // Proceedings of STI 2012 Montréal. 17th International Conference on Science and Technology Indicators. Montréal: Science-Metrix, OST, 2012. Vol. 2. P. 651–662.

АЛЕКСЕЙ ТИТКОВ

Можно ли согласиться с предложенными М. Соколовым и К. Титаевым определениями «туземной» и «провинциальной» науки, — спрашивает «Антропологический форум». Конечно, нет — такой ответ прямо следует из статьи, если продолжить ее логику. Авторы сделали достаточно, чтобы следующим неизбежным шагом сломать предложенную ими одномерную схему, добавив в нее второе измерение (на мой взгляд, более важное), связанное с разницей во взглядах на научную работу вообще, на ее характер и предназначение.

Замысел М. Соколова и К. Титаева состоял, как можно понять, в том, чтобы сложить из «распределения внимания» И. Гофмана и «центр-периферийных» концепций такую модель, которая объясняла бы известное из предыдущих исследований [Соколов и др. 2010; Соколов 2012a] состояние постсоветской социологии, разделенной на относительно замкнутые сообщества, «Вест-сайд (Вест-энд)» и «Ист-сайд (Инст-энд)». Модель предложена, теперь важно оценить, подходит ли она для других периодов, сообществ и дисциплин.

Возьмем случай, может быть, самый близкий к исходному: «первую волну» социологии в России конца XIX — XX в. В описании Н. Кареева (1996) мы также обнаруживаем «провинциальную» и «туземную» стратегии, причем «провинциальные» социологи (М. Ковалевский, Е. Де Роберти, П. Сорокин) ведут себя строго по определению: следят за важными для своей работы западными авторами и не замечают русских¹.

Алексей Сергеевич Титков

Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» /
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
Москва
a-titkov@yandex.ru

¹ Ср.: «Что же до фактического игнорирования русских “пионеров”, с некоторыми из которых Ковалевский не только был знаком, но и находился в приятельских отношениях, то это характерная черта не одного из писавших у нас о социологии»; «Де Роберти <...> принадлежал более французской, нежели русской литературе, так как гораздо чаще издавал свои работы на французском языке и более отражал в них движение французской, а не русской социологической мысли»; «Русская социологическая литература была совершенно не использована Сорокиным, что было отмечено одним из рецензентов <...>, указавшим на наличие в книге молодого социолога идей, высказанных раньше Лавровым и Михайловским» [Кареев 1996: 119–120, 93, 271].

«Туземные» социологи, в отличие от них, ведут себя непредсказуемо: не замыкаются в своем кругу, как надо было по модели М. Соколова и К. Титаева, а, наоборот, стараются навязать «провинциальным» авторам участие в своем разговоре, нападают на них за невнимание к местным работам и идеям¹. Наступление «туземных» социологов оказалось успешным: «провинциальные» социологи начинают объясняться с «туземными», защищаться, спорить, изучать их идеи [Кареев 1996: 277–278]. Для обыденного здравого смысла, как и для гофмановского анализа, такой сценарий кажется правдоподобным, его нетрудно представить в какой-нибудь повседневной ситуации (например, с подростками во дворе), но модель М. Соколова и К. Титаева почему-то предполагала совсем другое — вопрос, почему.

Определяя «провинциальную» и «туземную» науку как две формы «локализованных дискуссий», М. Соколов и К. Титаев явным образом основываются на нормативном представлении о науке как коммуникации («разговоре») между учеными, которая происходит с помощью академических текстов, через дискуссии и взаимное цитирование. Полевая, этнографическая часть исследования М. Соколова и К. Титаева показывает, что такое представление о науке оказывается плохо применимым по крайней мере к одному из изученных случаев, обозначенному в статье как “StudiosV” (сборник трудов «некоторого факультета социальных наук», типичного, по мысли авторов, для «туземной науки»).

Описанные М. Соколовым и К. Титаевым особенности текстов типа “StudiosV” (минимизация ссылок на внешних авторов, обильное самоцитирование, обязательное риторическое «тема не изучена / слабо изучена» даже для сюжетов с самой обширной литературой) свидетельствуют, что они предназначены не для научной коммуникации в привычном смысле. Оценка текстов (там же) по их количеству, без интереса к их цитированию кем-либо вовне², тоже доказывает, что для изучаемого типа науки ни коммуникация через тексты, ни вообще дискуссия не играют сколько-нибудь существенной роли. Кроме того, из статьи М. Соколова и К. Титаева следует, что различие

¹ Ср.: «Когда же мы, — восклицал <...> рецензент, — научимся ценить своих крупных людей, основателей социологии в России?»; «Это был первый академический диспут прямо по социологии, и на нем пришлось отметить ряд недостатков книги: <...> плохую местами осведомленность автора в старой социологической литературе с пренебрежительным отношением к русской при большой эрудиции в литературе новейшей иностранной» [Кареев 1996: 271, 272].

² Критерии оценки «по количеству» и «по цитируемости» отсылают к двум разным картинам мира, которые Л. Болтански и Л. Тевено ([Болтански, Тевено 2000] и др.) описывают как два самостоятельных «мира оправдания», производственный и рыночный, с существенно разными наборами ценностей и правил.

«провинциальной» и «туземной» науки мало что говорит о том, насколько успешным, в собственном научном смысле, оказывается то или иное сообщество. К «туземной науке», как ее очерчивают М. Соколов и К. Титаев, оказываются отнесенными как «некоторый факультет» со сборником “StudiosV”, так и классическая Чикагская школа с “American Journal of Sociology”.

Из всего сказанного следует, во-первых, что перспективы какого-либо научного сообщества определяются не только выбором «изоляция — ассимиляция» [Соколов и др. 2010; Соколов 2012а], при всей важности такого выбора, но и какими-то другими, не менее сильными, переменными. Во-вторых, что таким обстоятельством окажется, в интересующем нас случае, отношение к научной коммуникации как таковой: пишут ли ученые свои тексты для дискуссии с другими исследователями или производят их (если производят) с каким-то другими целями¹. Значимость такого разделения признают, в конечном счете, сами М. Соколов и К. Титаев, когда называют в качестве возможного (и популярного в России) «третьего пути» публичную социологию М. Буравого — направление, которое противопоставляет себя «профессиональной социологии», отказываясь от академической дискуссии в пользу разговора с широкой внешней аудиторией [Buravoy 2005; Буравой 2008; 2009].

Соединяя два измерения, «ассимиляция — изоляция» («Запад — Восток») и «коммуникация (дискуссия) есть — коммуникации (дискуссии) нет», мы получаем классификацию из четырех типов вместо двух исходных, названных в статье. Преимущества новой схемы проще всего обнаружить на уже приведенных примерах «некоторого факультета» (сборника “StudiosV”) и Чикагской школы: теперь они попадают не в один тип «туземная наука», со всеми сложностями и недоразумениями, вытекающими из такого соседства, а в два разных типа: «изоляция, коммуникации нет» и «изоляция, коммуникация есть»².

Двухмерная модель позволяет также уточнить типологический характер советской социологии и его изменение в постсоветский период. М. Соколов и К. Титаев описывают путь советской / постсоветской социологии как «мутацию» от «провин-

¹ В предшествующих дискуссиях о «западниках» и «почвенниках» в социальной науке позицию, близкую к описанной дальше, представил В. Радаев [2000]. Ключевой его довод состоял в том, что теория — это прежде всего результат и инструмент профессиональной коммуникации исследователей. Западные термины и концепции для В. Радаева [Радаев 2000: 206–208] предпочтительнее не своим содержанием, а тем, что они уже состоялись как язык коммуникации и поэтому лучше подходят для рабочего общения, в том числе внутри страны.

² Тезис об «изолированном» («туземном») положении ранней Чикагской школы здесь, для простоты, принимается без обсуждения.

циальной дискуссии» к «туземной». Предыдущие исследования М. Соколова и его ближайших коллег дают повод для сомнений, в какой степени можно говорить о «дискуссии» (и, следовательно, научной коммуникации) применительно к социологии советского периода. «Затрудняюсь назвать хотя бы одну дискуссию в социальных науках, которая шла бы между российскими учеными по сценарию обмена репликами между А и Б», — определяет М. Соколов [2012б: 25] состояние современной эмпирической социологии в России, выводя его из особенностей советского периода, когда, во-первых, в кружке советских социологов была исключена публичная критика друг друга, во-вторых, главной задачей социолога считалось публичное раскрытие «социальных секретов», скрываемых властью от народа [Соколов 2012б].

Согласно другим публикациям той же исследовательской группы, основным направлением работы советских социологов были, наряду с «критикой буржуазных концепций», чисто прикладные «конкретные исследования»; в советских журнальных статьях по социологии почти не встречался преобладающий на западе тип статей с эмпирической проверкой теоретических моделей [Соколов 2011]. Для советских социологов главным смыслом научной работы было раскрытие положения дел в обществе, а не теоретические разработки, академические тексты считались второстепенными по сравнению со статьями для массовой аудитории и записками для государственной власти [Димке 2012]¹. Приняв эти выводы, мы получим в нашей двухмерной классификации тип «Запад; академической коммуникации нет» или, иначе говоря, местную разновидность «публичной» или «прикладной» социологии в классификации М. Буравого [Buravoy 2005; Буравой 2008; 2009]².

¹ Другими словами, сообщество советских социологов оказывается похожим не столько на западные академические сообщества, сколько на советские творческие союзы (писателей, журналистов, композиторов и др.). И те, и другие работали, прежде всего, для внешней аудитории («для народа» и «для партии и правительства»), а следить за творчеством друг друга, оценивать его в профессиональном кругу нужно было только ради ритуальных похвал или, наоборот, сведения счетов.

² М. Соколов и К. Титаев указывают, что в советское время социологи «были плотно интегрированы в систему академической мобильности <...> Существовали регулярные курсы повышения квалификации, конференции на общесоюзном уровне и все прочие атрибуты “нормальной” академической жизни. Контакты <...> были достаточно активными». Но авторы не разбирают, как и насколько такого рода активность, телесная и разговорная, сказывалась на академических текстах, становились ли они в результате более дискуссионными, «коммуникационными» или нет. Другими словами, М. Соколов и К. Титаев сказали недостаточно для пересмотра выводов, сделанных ими и их коллегами в 2009–2011 гг.

В модели М. Буравого «прикладная социология» и «публичная социология» различаются между собой степенью критики и рефлексивности по отношению к целям и нормам существующего социального порядка. Для наших целей различия между ними менее важны, чем их противопоставление «профессиональной социологии» или социологии для академической аудитории.

В такой перспективе оценка степени «провинциальности» или «туземности» (в терминологии М. Соколова и К. Титаева) постсоветской социологии оказывается менее существенной, чем оценка по другому измерению — отношению к научной дискуссии. Можно, конечно, обсуждать, как соотносятся между собой «мутация от провинциальной модели к туземной» (М. Соколов, К. Титаев) с упомянутым в статье постепенным проникновением ссылок на западных «современных классиков» в тексты авторов из лагеря «изоляционистов» [Губа 2012]. Более важная линия раздела пройдет, однако, на другом уровне — между сообществами, ориентированными на дискуссию и полемику (неважно, внутреннюю или внешнюю), и сообществами, в которых она не нужна или нежелательна.

Наконец, о «провинциальной социологии», как может измениться ее оценка с добавлением второго измерения («коммуникация есть — коммуникации нет»). Прежде всего мы можем предположить, что между «советской провинциальной» социологией и «современной провинциальной» социологией обнаруживается не только разница поколенческая, как полагают М. Соколов и К. Титаев («появляется новое поколение, которое может похвастаться большей близостью к столичному обществу»), но и различия между социологией «прикладной» и «публичной», с одной стороны, и «профессиональной» — с другой. По крайней мере, в «межпоколенческих» дискуссиях социологов на рубеже 2010-х, упоминаемых М. Соколовым и К. Титаевым, одно из главных размежеваний происходило, по заявлениям обеих сторон, между наукой «гражданской», ориентированной на «проблемы общества», и наукой «ради нее самой» (см., например, полемику В. Вахштайна [2009] и Л. Гудкова [2009]), — различие, сопоставимое с разницей между социологией «для не-академической аудитории» и социологией «для академической аудитории» в схеме М. Буравого. Первым предсказуемым следствием такого различия, если оно приживется сколько-нибудь надолго, станет принципиально разное отношение к академической коммуникации, научной полемике и дискуссии.

В статье М. Соколова и К. Титаева много говорится об ограничениях, мешающих нормальному развитию «провинциальной науки». Даже из теоретической модели, предложенной в статье, можно вывести обстоятельства, которые способны, наоборот, подтолкнуть развитие «провинциальной науки». Модель говорит, к примеру, о «демографических ограничениях» на число участников дискуссии в одной области, которое не превышает, по их оценкам, несколько десятков человек, примерно полусотню. Далее модель определяет «провинциальную науку» как малочисленную по сравнению со «столичной

наукой», способную поставить не более одного-двух участников в каждую из «столичных» дискуссий по определенной теме. Приняв оба этих допущения, мы можем представить на их основе сразу два взаимодополняющих механизма, которые заставят «провинциальную науку» развиваться ускоренными темпами.

Во-первых, «один-два участника столичной дискуссии» оказываются подходящим ядром, вокруг которого будут складываться собственные, национального масштаба, дискуссии по этой же проблематике. Близость к ядру этой дискуссии, отсутствие языкового барьера и «демографических ограничений» — все это должно оказаться привлекательным для новых исследователей, получающих таким образом упрощенный, хотя и опосредованный, доступ к одному из направлений современной социальной науки. В социальной географии такая модель распространения известна как «каскадная диффузия» (см. например: [Hagget 2001: 482–484]): каждый подчиненный уровень, получающий какое-либо новшество, становится, в свою очередь, центром распространения этого же новшества для следующих уровней. Представив себе, вслед за М. Соколовым и К. Титаевым, «центр — периферийное» устройство научного мира, мы должны, следующим же шагом, предположить в нем действие такого рода механизмов, типичных и неизбежных для отношений «центр — периферия».

Во-вторых, малочисленность «участников столичных дискуссий» может, вопреки теоретическим ожиданиям модели М. Соколова и К. Титаева, побудить исследователей, разделенных по «тематическим аудиториям», но объединенных языком, культурой и относительной географической близостью, больше интересоваться идеями и разработками своих коллег, принадлежащих к другим, относительно далеким, направлениям социальной науки. Малочисленность «провинциального» сообщества будет в этом случае работать на укрепление связей внутри сообщества, на расширение кругозора его участников. В российском социологическом «Вест-сайте» встречи и дискуссии, пересекающие границы «тематических аудиторий», всевозможные «Фреймы против практик», составляют существенную часть всей академической жизни. В модели М. Соколова и К. Титаева такие «перекрестные» обсуждения происходить не должны (участники, разделенные «легитимными тематическими границами», «не испытывают сильного нормативного принуждения к тому, чтобы интересоваться работой друг друга»), но мы все-таки можем их теоретически предсказать и объяснить, предположив, что в малочисленном сообществе, хотя бы и разделенном «по темам», стимулы к академической коммуникации оказываются сильнее разделений.

Описанная выше модель поведения заметно отклоняется от идеального типа «провинциальной науки» и приобретает черты, свойственные, в версии М. Соколова и К. Титаева, противоположному типу «туземной науки». Различия между ними вообще могут оказаться не такими существенными, если — повторю главный тезис — более важными для социальных наук остаются различия, связанные с отношением к коммуникации и дискуссии.

Принадлежность к одному из полюсов шкалы «туземный — провинциальный», как признают М. Соколов и К. Титаев, неустойчивая и ситуативная, «большинство колеблется вдоль нее со значительной амплитудой». Различия между «коммуникацией» и «не коммуникацией», между «дискуссией» и «не дискуссией», оказываются, скорее всего, более устойчивыми и определяющими.

Библиография

- Болтански Л., Тевено Л.* Социология критической способности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 3. С. 66–83.
- Буравой М.* За публичную социологию // П. Романов, Е. Ярская-Смирнова (ред.). Общественная роль социологии. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008. С. 8–51.
- Буравой М.* Приживется ли «публичная социология» в России // Labotarorium. 2009. № 1. С. 160–170.
- Вахитайн В.* По ту сторону постсоветской социологии: парадоксы и тавтологии // Пути России: Современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколения. М.: Университетская книга, 2009. Т. 16. С. 17–39.
- Гудков Л.* Есть ли основания у теоретической социологии в России? // Вестник общественного мнения. 2009. № 1 (99). С. 101–115.
- Губа К.* Западная теория в петербургской социологии: между Максом Вебером и Эрвином Гофманом // Социс. 2012. № 6. С. 83–96.
- Димке Д.* Классики без классики: социальные и культурные истоки стиля советской социологии // Социс. 2012. № 6. С. 97–106.
- Кареев Н.* Основы русской социологии. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1996.
- Радаев В.* Есть ли шанс создать национальную теорию в социальных науках // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 3. С. 202–214.
- Соколов М., Бочаров Т., Губа К., Сафонова М.* Проект «Институциональная динамика, экономическая адаптация и точки интеллектуального роста в академическом сообществе: петербургская социология после 1985 года» // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. № 3 (52). С. 66–82.
- Соколов М.* Рынки труда, стратификация и карьеры в советской социологии // Экономическая социология. 2011. Т. 12. № 4. С. 37–72.

- Соколов М. Изучаем локальные академические сообщества // Социс. 2012а. № 6. С. 76–82.
- Соколов М. О процессе академической (де)цивилизации // Социс. 2012б. № 8. С. 21–30.
- Buravoy M. For Public Sociology: Presidential Address // American Sociological Review. 2005. Vol. 70. P. 4–28.
- Hagget P. Geography: A Global Synthesis. Harlow, Essex: Pearson Education, 2001.

СЕРГЕЙ УШАКИН

Наука: вещь в себе и вещь для себя

Начну с небольшого этнографического факта из собственной (относительно ограниченной) академической практики в России. За редким исключением обычная американская конференция строится по стандартному формату: 3–4 доклада на тематической секции, как правило, завершаются выступлением дискуссанта (*discussant*). Дискуссant — это своеобразный оппонент, человек, у которого две главные задачи: 1) подытожить (или даже сформулировать) для аудитории (да и самих докладчиков) «суть», основную мысль прозвучавших на секции выступлений таким образом, чтобы 2) стимулировать вопросы со стороны аудитории. Так вот, на российских научных конференциях “*discussant*” как жанр и фигура практически полностью отсутствует. «Круглые столы» в гуманитарных журналах, как правило, тоже не включают в себя финальной, обобщающей (или обостряющей) ремарки редакторов-организаторов.

Разумеется, в этом факте можно было бы увидеть наследие советского опыта и сталинистского прошлого (т.е. «нечего тут дискуссии разводить»). Но мне хочется видеть в этом любопытном отсутствии академического жанра нечто иное. Это нечто можно было бы определить, допустим, как сложившийся в данной академической культуре примат *прямой* речи, *прямого* дискурсивного

обмена между докладчиком и его / ее аудиторией. Этот же самый «примат» можно сформулировать и негативно — как определенное культурное отторжение, неприятие — возможно, даже боязнь? — опосредующих жанров и жестов, т.е. жанров и жестов, предлагающих *свою оптику* восприятия уже сказанного, *свою* интерпретационную *решетку*, определенным образом фильтрующую только что произнесенный текст.

Иными словами: академическая институционализация потребности в рамке, ритуализация обобщающего комментария, благодаря которому выстраивается мост между докладчиком и аудиторией, пока в (известном мне) российском научном сообществе складывается с трудом. Это фактическое неприятие устойчивой формы научного ритуала мне кажется важным. Отказ от практик медиации — это ведь еще и отказ от выработки метаязыков научного общения, это отказ от поиска позиций, которые позволяют одновременное соучастие и дистанцированность по отношению к анализируемому тексту. Жанр дискуссанта — лишь один пример более общей тенденции; к ней же можно было бы отнести и складывающуюся с трудом традицию анонимного внешнего рецензирования рукописей в журналах (*peer-review*). Сюда же можно было бы включить и ситуацию с рекомендательными письмами для поступления в аспирантуру за рубежом или для получения грантов. Примеры можно множить, но, я думаю, мой эмпирический довод понятен. В силу определенных причин практики научного обмена, сложившиеся в российском сообществе, с удивительным постоянством блокируют возникновение и развитие коммуникационных форм, которые могли бы перевести «потребительную стоимость» того или иного научного продукта (отражающую навыки, ценности и ожидания конкретного производителя) на язык «меновой стоимости», понятный широкой аудитории.

Исследование М. Соколова и К. Титаева во многом мне симпатично именно их попыткой артикулировать этот новый — обобщающий и опосредующий — язык для объяснения того, что происходит в российском обществоведении. Прежде чем ответить на предложенные вопросы, я бы хотел сделать один комментарий по поводу ключевой метафоры, которую авторы используют в своем тексте.

Соколов и Титаев строят свою таксономию на (зыбком) основании одной метафоры: коммуникация между учеными есть разговор, т.е. более или менее направляемый обмен символами, их — символов — своеобразная циркуляция. Выбор ключевой метафоры позволяет авторам сделать следующий шаг: сконцентрироваться на характере самого обмена / циркуля-

ции. В итоге мы получаем «трехчленку» — *замкнутая циркуляция* («натуральное» хозяйство) «туземной» науки, «*неэквивалентный обмен* (карго-культ) «провинциальной» науки ну и, соответственно, — *полноценный товарообмен* на рынке «столичной» науки.

Эта типология приобретает несколько иной характер, если мы вместо базовой (логоцентричной) метафоры *разговора* будем использовать метафору *письма*. В отличие от разговора, письмо не предполагает обязательного присутствия адресата в момент процесса письма. Более того, письмо, собственно, и провоцируется отсутствием, исходя из невозможности *непосредственной* коммуникации. Сказывается ли это отсутствие на характере *самого* письма? Меняется ли в ходе такого — *приостановленного* — символического обмена характер, структура и содержание пишущегося текста?

Не может не меняться, считает Жак Деррида (чьи идеи я, собственно, и пересказываю). Отсутствие явного адресата ведет не только к тому, что коммуникативная функция утрачивает свою гегемонию. Это отсутствие ставит перед письмом новые цели: главным, принципиальным, существенным становится не репрезентация, но сохранение принципа читабельности: «Письмо, которое не будет структурно читаемо — итерабельно — <...> не будет письмом. <...> Чтобы написанное было написанным, нужно, чтобы оно продолжало “действие” и было читаемым, даже если тот, которого называют автором написанного, не отвечает более за то, что он написал, за то, что он, кажется, подписал, даже если он временно отсутствует, если он мертв или вообще не утвержден актуальной и присутствующей интенцией или полнотой своего значения, даже если он, как кажется, вписался “под своим именем”».

Структурно-семантическая значимость этих азов постструктурализма заключается в следующем. Избавление от тоталитаризма репрезентативной функции, отказ от ориентации на известного адресата ведет к тому, что исходный контекст того или иного знака — а с ним и исходная интенция — утрачивает свою первостепенную важность. В итоге, как пишет Деррида, «любой знак, языковой или неязыковой, устный или письменный, <...> может быть процитирован, поставлен в кавычки; этим он может порвать с любым данным контекстом, порождать до бесконечности новые контексты, абсолютно не насыщаясь» [Деррида]. Переход от метафоры разговора к метафоре письма, таким образом, показывает механизм и причины деконтекстуализации знака. Письмо — не форма коммуникации (или передачи знания); письмо есть демонстрация способности воспроизводить тот или иной набор символических форм

в определенном порядке. Важно не *что* я пишу, а что я *могу* писать.

Такое понимание (научного) письма позволяет иначе увидеть суть проблемы практик научного производства, о которых пишут Соколов и Титаев. Установка на коммуникацию результатов как основной принцип научной деятельности — из которой исходят Соколов и Титаев — в данном случае оказывается далеко не очевидной. Соответственно, ключевым тогда становится — на мой взгляд — не выбор степени самодистанцированности по отношению к внешнему миру или в формах идентификации с этим миром, но фундаментальное осознание *отсутствия* этого внешнего мира в процессе производства научного текста. Или в обратной форме: динамика отношений внешнее / внутреннее определяется здесь *наличием* (местного) адресата, чье присутствие не может быть проигнорировано. Чтобы быть читабельными, знаки «столичной» науки, так сказать, должны быть «вырваны» из своего первичного контекста и взяты в свои, «местные», понятные кавычки.

С этой точки зрения, принципиальной разницы между «туземной» и «провинциальной» наукой немного. Точнее — разница в валентности, направленности, а в не структуре письма, которое основано на повторении как искажении. «Туземная» наука нивелирует потенциальный эффект заимствованного знака, встраивая его в разнообразные варианты жанра «фальсификация». В свою очередь, «провинциальная» наука использует форматы литературных обзоров и реферативных статей, чтобы сделать чужое знание доступным. Принципиально для меня тут одно и то же: участие в *исходном* контексте, давшем *изначально* жизнь этим знакам, взятым напрокат, не столько отвергается, сколько даже и не допускается в качестве возможного. Метафорически говоря, в первом случае наука есть своеобразная «вещь в себе», непереводимая, да и не нуждающаяся в обменах-переводах; во втором случае наука действует как «вещь для себя», создающая для своих нужд пестрые бриколажи мультипарадигмальностей.

Ни в первом, ни во втором случае науки как вещи для других не возникает, и, как мне кажется, в этом и состоит основная проблема гуманитарных и обществоведческих наук в России. Возможность отчуждения научного продукта, возможность его циркуляции в средах, отличных от места его производства, практически не рассматривается в качестве основного условия научного производства. Соответственно, практически не сформирован интерес к знанию академических «площадок» и «рынков», которые могли бы стать потенциальными потребителями «местного» интеллектуального продукта.

Мне меньше всего хотелось бы, чтобы мои реплики воспринимались в контексте «рыночного» отношения к научной деятельности. В данном случае для меня важен не сам «рынок», но те процессы оценки, уговоров, уступки и обмена, без которых он невозможен. С этой точки зрения, оба типа научного производства, о котором пишут Соколов и Титаев, — безусловно, «до-рыночные»; они не ориентированы на незнакомого потребителя, не предполагают внешней оценки да и, по сути, не предполагают сколько-нибудь длительной циркуляции и существования на «вторичных» рынках. На фоне этих общих положений я бы и хотел ответить на предложенные вопросы.

1

2

Я вижу интерпретационную полезность предложенной трехчленки, но мне все-таки кажется, что уместнее было бы делить науку не по географическому принципу, а по принципу ее ориентации на циркуляцию. Столичная наука — это наука, сделанная на «внешний» по отношению к потребителю рынок идей, это наука, постоянно «подставляющая себя» под удары чужих оценок и мнений — в виде рецензий, публичных обсуждений. Туземная и провинциальная науки — это науки для внутреннего пользования, выпиленные лобзиком поделки; лобзик может быть отечественный или импортный, но суть поделки ведь от этого не меняется. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не столько о качестве «продукта», сколько о готовности и стремлении к его улучшению в процессе общения с потенциальным потребителем. Водораздел тут определяется наличием желания искать «внешнюю» аудиторию и работать с ней. С этой точки зрения мне симпатичны постоянные поиски таких журналов, как “Ab Imperio”, «Антропологический форум», “Laboratorium”, «Неприкосновенный запас», «Новое литературное обозрение», только что появившийся в Иваново журнал «Лабиринт». Так или иначе, каждый из этих журналов активно ищет и формирует свою аудиторию, постоянно пытаясь выйти за пределы очевидного круга авторов. Практически все эти издания публикуют переводы зарубежных исследований, формируя тем самым любопытные диалоги внутри журналов.

Если говорить о «столичной» науке вне России, то тут ситуация несколько иная, и связано это с иначе структурированным научным пространством. Например, в США необходимость публикации в *ведущих* научных журналах является не переменным знаком пригодности. Каждая профессиональная ассоциация (например, антропологов, или социологов, или политологов) имеет свой набор ключевых журналов, которые определяют общий уровень развития дисциплины. Плюс есть сеть академических, но не связанных с ассоциациями журналов, со своими специфическими репутациями. И тут начинается самое интересное. Какие-то из этих журналов являются консер-

вативными, какие-то — экспериментальными. Публикация в журналах ассоциаций важна для карьеры; в свою очередь, публикация в журналах, определяющих интеллектуальный тон, важна для собственного научного позиционирования и репутации.

Например, “Critical Inquiry” в течение уже нескольких десятилетий остается ведущим гуманитарным журналом, стоящим, скажем так, на позициях марксизма-деконструкции-психоанализа. “Public Culture” до недавнего времени был журналом, активно заинтересованным в политическом анализе культурных практик. Иерархия журналов постоянно меняется, что связано как с эволюцией интересов, так и со сменой редакторов (редакторы, как правило, меняются после двух сроков), т.е. «столичный» журнал может превратиться в провинциальный, а то и туземный. Например, так произошло с журналом “Social Text”: ведущий в 1990-х интеллектуальный журнал постепенно в прошлом десятилетии превратился в устойчивое, но малоинтересное и маловлиятельное издание.

Важно и другое. В США «столичность» научного производства — т.е. оригинальность, открытость к дискуссии при наличии серьезной исследовательской основы — обеспечивается простым механизмом. Как правило, все статьи в ведущих журналах проходят анонимное рецензирование. Точно так же обстоит дело с публикацией монографий и сборников статей. Это значительно удлинняет процесс публикации статьи в журнале, который может занять по меньшей мере год, но это же обеспечивает и контроль качества (первичное рецензирование может занять от четырех до восьми месяцев; переделанная статья может быть послана на вторичную рецензию, и только после этого статья может быть включена в план).

Внешнее рецензирование используется и еще в одном случае. При заключении договора на постоянную работу (*tenure decision*) персональное дело кандидата (включающее его / ее публикации) рассылается на рецензию специалистам. Требования зависят от университета: в Ivy League и близких к ним исследовательских университетах такое дело обычно состоит из 5–7 статей и монографии; в небольших колледжах и педагогических университетах бывает достаточно и нескольких статей. В любом случае — внешняя характеристика, внешняя оценка работы кандидата является неременным условием его / ее продвижения по карьерной лестнице.

«Столичность», понятая как открытость, достигается еще и тем, что кафедры не берут на работу своих собственных выпускников. Исключения случаются (и не проходят незамеченными), но общее правило остается: ценность выпускника

должна быть подтверждена на независимом рынке идей. Существенно и то, что прием на работу — обычно — делается публично, в виде открытого конкурса документов на объявленную позицию. Такая открытость есть одновременно и форма социального лифта, и гарантия от институционального инцеста.

Я описываю все эти детали американской системы науки, чтобы показать: «столичность» достигается не только качеством идей. В этом обществе созданы и активно поддерживаются институты и ритуалы, которые позволяют избежать стагнации и «закупорки» интеллектуальных артерий. Мне мало известно о таких механизмах саморегуляции в российской науке. Прием на работу по открытому конкурсу практикует, насколько я знаю, только Европейский университет в СПб и Вышка, да и то — отчасти. Плюс — несмотря на объявление конкурсов, не всегда очевидно, что на работу берут именно по конкурсу.

Далее — университетские издательства в России, как правило, призваны обслуживать издательские потребности сотрудников соответствующего университета. Издательский дом Вышки, например, так и пишет на своем сайте: «Основу плана выпуска ИД составляют рукописи, заявки на выпуск которых подают сотрудники НИУ ВШЭ». Такое просто непредставимо в американских университетских издательствах, которые соревнуются за публикацию лучшей книги, независимо от места работы ее автора. При ограниченности ресурсов открытость не нужна, да и опасна. Эта ситуация напоминает мне ситуацию с развитием банковского и страхового сектора в России, где использовался сходный аргумент о том, что допускать чужие (иностранные) банки в Россию нельзя потому, что они сильнее доморощенных МММ и прочей финансовой экзотики.

Собственно, наверное, это и есть институциональная форма существования туземной и провинциальной науки: поскольку университетская наука имеет крайне ограниченные источники собственного воспроизводства, то важен, в общем-то, не «разгул» идей и свободная конкуренция людей, а тщательная селекция доступа к уже сложившимся источникам. Чужие тут не ходят. В этом отношении для меня показательным является то, что за все постсоветские годы в России так и не возникло академических структур — частных или государственных — которые рутинно приглашали бы к себе зарубежных специалистов на долгий срок. Ну, вот, например, как это делает Институт Кеннана в Вашингтоне, Центр Дэвиса в Гарварде или Институт углубленных исследований в Принстоне (Institute for Advanced Study). Все они платят исследователям приличную стипендию для того, чтобы те занимались своими собственными проектами в рамках этих институций в течение семестра

4

или года. Ну и завязывали попутно какие-то научные связи с местными преподавателями и студентами. Наверное, замкнутость российской науки на себе, эта научная автаркия — во многом следствие экономического положения; но я не думаю, что все тут определяется деньгами.

Я оговорюсь опять: мне кажется, что оба этих типа сходны в главном — это форма научного производства, рассчитанная на внутреннее употребление. Но есть некоторая разница. «Провинциальная» наука — это зачастую наука, так сказать, переводчиков с мирового на местный. Вот Игорь Семенович Кон был замечательным представителем этого жанра. Перенос / перевода западное знание в советский контекст, он в значительной степени этот контекст изменял. Или еще один пример (чуть иного рода) — Юлия Кристева с ее переводом работ Бахтина на французский. Перевод и его интерпретации значительно повлияли на характер гуманитарной мысли Запада, и Кристева сумела использовать эту (в общем-то, как, наверное, сказали бы Соколов с Титаевым) туземно-провинциальную модель для того, чтобы выстроить свои собственные гносеологические основания.

Провинциализм такой переводной модели научного производства — наука как вещь для себя — во многом связан с тем, что «переводчики» пытаются с помощью этих внешних, заимствованных идей объяснить *местный* опыт. И иногда получается замечательно. Из разряда «художник Коровин — это наш русский Писсарро». Поговорите с российскими философами, и они вам скажут, кто сегодня «русский Деррида» или «русский Бадью». Проблема в том, что это движение в одну сторону. Эта валюта, так сказать, неконвертируема. Во Франции уже есть свой Писсарро и свой Деррида. Им русского «один в один» не надо.

С «туземной» наукой проблема иного рода. Как всякая вещь в себе — это такой непере译имый фольклор. Своеобычный до изнеможения. Вне русского языка и контекста не выживающий. Ну, условно говоря, как тексты Мераба Мамардашвили или работы Льва Гумилева. Такие научные тексты партнером по диалогу могут стать вряд ли, но они безумно интересны как симптом — для понимания того, как устроено общество, которое эти тексты произвело. Я в свое время исследовал так называемую «школу виталистов», сложившуюся на социологическом факультете Алтайского госуниверситета в 1990-х. Вот с точки зрения того, что мы обычно понимаем под социологией, этот витализм был малоинтересен. Но с точки зрения формирования определенного дискурса о постсоветской нации и обществе — бесценный клад. «Туземная» наука, иными словами,

это такой постоянный поставщик «симптоматики», закодированного материала, который очень интересно разгадывать.

Но есть и другая «туземная» наука. Я три года участвовал в проведении и организации летней школы по исследованиям советской повседневности. Школа проводилась для молодых ученых — аспирантов и только что защитившихся кандидатов наук. И вот что интересно — многие из участников представляли собой сначала «вещь в себе» — т.е. масса интересного архивного или полевого материала, в лучшем случае — описанная позитивистски, в худшем — искореженная какой-то (случайно) усвоенной и вырванной из контекста рамкой. И в течение этих лет можно было видеть, как меняются участники, как они начинают «выращивать» формы обобщения и абстракции из своего материала, не насилуя его при этом. Вот этот тип «туземной» науки многообещающ, но он и более проблематичен. Ему не хватает своего языка, и для меня не всегда очевидно, что этот свой язык может сформироваться без диалога в соответствующей аудитории.

Приведу еще один пример. Я несколько лет подряд организую в Принстоне международные и междисциплинарные конференции. Я сознательно отказался от того, чтобы формировать программу по приглашениям. Объявляем открытый конкурс. Получаем 100–150 заявок. Все заявки проходят отбор программного комитета. Мы всегда стараемся приглашать молодых исследователей из бывшего Советского Союза (часто оплачивая проезд). И из года в год наблюдаем устойчивый культурный, как сказали бы социологи, паттерн. Исследователи из России нередко сводят свое участие в конференции только к своему докладу; обсуждение выступлений коллег в виде вопросов и комментариев с их стороны — крайняя редкость. Итерабельность, как сказал бы Деррида, есть, а стремления вписать себя в новый контекст нет. Вот эта практика негативного присутствия меня, конечно, поражает. И дело тут не в знании языка или робости — сходное отношение демонстрируют российские исследователи старших поколений с замечательным английским. Нет культурной и академической потребности участия в циркуляции знания, в привязке своих идей к разным контекстам. Не сложилась. И складывается с трудом. Фигура и роль «дискуссанта», иными словами, так и остается излишней.

5

Институционально — вряд ли. Как я пытался объяснить, различия в производстве знания между тем, что вы называете «периферией» и «центром», не только процессуальные, но и институциональные и этические. Да и темпоральные. Научная деятельность и научное сотрудничество на Западе — это ведь

процесс долгого цикла: садишь яблоню, а яблоки будут не скоро. И вот эта возможность думать на несколько лет вперед, не ожидая урожая сразу, — это, конечно, роскошь, которую «периферия или полупериферия» себе просто не могут позволить. Здесь календарь сезонный, а связи — кратковременные. (На собственном опыте я усвоил в этом году, что в России срок сотрудничества увязывается напрямую со сроком гранта. Возможность сотрудничества по истечении грантового срока воспринимается как аномалия.)

Я не знаю, как можно примирить эти две практики. Чем больше смотрю, тем больше понимаю: несовместимы они друг с другом. Невозможен, иными словами, третий путь в рамках науки в целом. Иного не дано. Либо открытость для всех, либо замкнутые цеховые корпорации, академические клики и тусовки. Показательно же ведь, что традиционные механизмы формирования доверия *внутри* дисциплинарных сообществ — без которого не может быть никакой открытости — практически не работают. Например, в российской науке фактически не сложилась система профессиональных призов — скажем, за лучшую диссертацию года по социологии. Или за лучшую статью года по антропологии. Или за лучшую книгу года по истории России. Системы академического престижа — нет. В том числе и потому, что нет ни общих критериев оценки, ни, судя по всему, желания оценивать. Да, наверное, нет и особого желания выносить свои работы на внешний суд.

Опять-таки, в американской системе ситуация отличается кардинальным образом. Я в этом году вхожу в состав жюри Ассоциации славянских, восточно-европейских и евразийских исследований по книжной премии на лучшую книгу года, опубликованную в США и Великобритании (The ASEES Wayne S. Vucinich Book Prize). Помимо меня в комитет входит еще три человека. На конкурс издательства (а книги присылают и номинируют издательства) прислали каждому члену жюри чуть больше 50 книг — от истории советского балета до новых интерпретаций средневековой Руси. И вот в течение нескольких месяцев мы активно обсуждаем критерии оценки, формируя сначала длинный список кандидатов, потом — чуть короче, потом — еще короче. К концу июля должны сформировать шорт-лист. Все это к тому, что самоорганизация науки и поддержание ее уровня — дело утомительное, времяземкое и затратное. Но без таких процедур, да и без такого желания / готовности со стороны самих ученых участвовать во всех этих жюри, рецензионных процедурах, написаниях отзывов и прочих формах *оценки*, мне кажется, научное производство — как общее дело — давно бы выродилось.

Возвращаясь к идее третьего пути: мне кажется, что «третий путь» все-таки возможен на индивидуальном уровне. В России сейчас формируется группа людей, которые активно встроены в международные проекты и сети. Для одних — это форма академического туризма. Для других — возможность интеллектуального обмена. По своему опыту знаю и тех, и других. Их сложно отнести и к периферии, и к центру. У них такая промежуточная позиция проводника, посредника, трикстера. (Институционально Европейский университет в СПб такую позицию занимал в прошлом десятилетии. В Минске был Европейский гуманитарный университет со схожей позицией.) Проблема тут вот в чем. Количество институтов, благоприятно относящихся к трикстерам такого типа, можно, наверное, пересчитать по пальцам одной руки. И этим третьепутейцам, как я вижу, в итоге приходится приспосабливать свою индивидуальную траекторию к туземно-провинциальному контексту. Если все коллеги по кафедре ограничиваются ежегодными публикациями тезисов в издательстве местного университета, а вы один печатаете раз в три года статью в «столичном» журнале, то находить общий язык с коллегами, наверное, будет непросто. Т.е. в принципе-то этот третий путь возможен. Но это такой тревожный путь куда-нибудь. Я бы его, наверное, искать не стал. Я бы, наверное, в итоге скатился на полюс.

Для меня показательным в этом отношении является работа Фонда Сороса — с его местными филиалами и Центрально-Европейским университетом. В течение почти 20 лет этот фонд очень четко пытался создать этот самый «третий» путь в пост-социалистических странах, опираясь одновременно на две модели — интеграционную и локализационную. Сегодня уже четко видно (мне, по крайней мере), что фонду бесспорно удалась интеграция молодых ученых в мировое академическое сообщество. Обучение и гранты позволили этим ученым познакомиться со стандартами и требованиями мировой науки, ввели их в тематику и сети. Но заканчивается эта интеграция, как правило, одинаково: рано или поздно эти молодые ученые, прошедшие «школу Сороса», регион покидают и вливаются в ту самую мировую науку, язык которой они так хорошо усвоили. Попытки же «локализовать» этих ученых на местах, обновить с их помощью региональные университеты, как правило, заканчиваются безуспешно. Особенно если учитывать тот объем финансирования, который ушел на многочисленные школы, проекты и прочие формы поддержки. Не сложилось критической массы в регионах. Точнее — нежизнеспособной оказалась там этика и практика мировой науки.

Я участвовал несколько раз в подобных проектах, и было любопытно видеть возникновение «локальной» культурной логи-

ки, которая объясняет воспроизводство вот этой нежизнеспособности. Приведу пару примеров. Несколько лет назад Фонд Сороса попросил меня помочь одному профессору из Центральной Азии — есть у фонда такая модель «наставничества». С помощью фонда профессор планировал провести крупное исследование, включая и поездку в библиотеки США. Мы стали обсуждать теоретические основы, подходы и т.п. вещи, и выяснилось, что практически ничего из современной литературы по теме исследования профессору не известно (как не известен и английский язык). Я предложил начать с анализа литературы, существующей на русском. Первый же текст, который мне прислал профессор, оказался плагиатом. Но любопытно было, конечно, не это, а доводы профессора, который пытался меня убедить, что вот его коллега в прошлом году делал *еще меньше*, а в Штаты тем не менее на месяц (или два) уехал.

Или еще один, недавний, пример — сотрудничество с одной кафедрой университета в Киргизии, которая много лет получает поддержку Фонда. Мы долго обсуждаем приоритеты, решаем, что будем делать специальный выпуск журнала на тему, в которой смогут принять участие все члены кафедры; определяемся с индивидуальными сюжетами, со сроками и объемами. В общем — все по-взрослому. Наступает время дедлайнов, и — ни одной статьи. Начинаю теребить преподавателей. Одна присылает текст, никак не связанный с общей темой. На мои вопросы о том, как же так, преподаватель отвечает, что ничего другого у нее нет. Второй преподаватель шлет нарезку из цитат и несвязанных мыслей. На просьбы сделать из этого внятный текст отвечает: «В следующий раз». В итоге в финальный сборник вошла только одна статья члена кафедры — по-моему, первая статья этой кафедры, опубликованная в *peer-reviewed* журнале.

И опять-таки, важно здесь даже не это в общем-то ожидаемое отсутствие профессионализма, а то, как его воспринимают и объясняют сами представители этой формы научной деятельности. Как мне сказал один из них, «с нами можно было повозиться». И мне кажется, вот в этом «повозиться» и содержится ключ к пониманию сути «туземно-провинциальной науки». Она мотивируется иными потребностями и желаниями. Она не про стремление к научному разговору, она — про другое. Тут важно не участие в научной деятельности, а близость к ней. Это, конечно, форма научной самоориентализации: «туземно-провинциальный» статус позволяет претендовать на ресурсы без предъявления результатов. И именно это желание «повозиться» и превращает научные командировки — в академический туризм, а научные фонды — в своеобразную систему соцобеспечения.

Я, честно говоря, не очень понимаю, как относиться к такой вот форме научной деятельности. Мне сначала казалось, что дело в конкретных индивидах, но сейчас я все чаще думаю, что тут проблема системная: закрытые структуры по производству знания, хорошо встроенные в местные системы обмена, воспроизводят себя не за счет циркуляции *знания*, а за счет циркуляции *людей*. И мы знаем из антропологии, что в таких системах определяющим является не качество продукта, а лояльность членов системы. Повторюсь: считать, что любая научная деятельность рассчитана на обмен мнениями, на циркуляцию итогов исследования — это беспочвенный оптимизм. Мы забываем, что во многих случаях научная деятельность и сводится вот к такой перформативной «возне», в которой главное не результат, а процесс. Вещь в себе, которая стала вещью для себя.

Библиография

Деррида Ж. Подпись — событие — контекст. <http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/podp.php>.